

И. Родин



# МАРТОВСКИЙ ЗАЯЦ

или

Записки мальчика  
ИНДИГО

Игорь Родин

**Мартовский заяц, или  
Записки мальчика индиго**

«Автор»

2018

УДК 821.161.1  
ББК 84(2)6

**Родин И. О.**

Мартовский заяц, или Записки мальчика индиго / И. О. Родин —  
«Автор», 2018

ISBN 978-5-4458-8595-5

«Мартовский заяц, или Записки мальчика индиго» – роман о нашем общем советском прошлом, о том, какой предстает жизнь того времени в восприятии нашего современника, часть юности и детство которого пришлись на последние десятилетия существования СССР. Роман написан с удивительным чувством юмора. По существу, он весь состоит из забавных эпизодов и смешных историй. Однако после прочтения остается о чем задуматься и даже о чем погрузиться.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2)6

ISBN 978-5-4458-8595-5

© Родин И. О., 2018  
© Автор, 2018

## Содержание

Зачин	6
Глава первая	8
Глава вторая	19
Глава третья	22
Глава четвертая	31
Глава пятая	41
Глава шестая	50
Конец ознакомительного фрагмента.	52

# И. О. Родин

## Мартовский Заяц, или Записки мальчика-индиго роман

© Родин И. О., 2018

*– Так они и жили, – продолжала Соня сонным голосом, зевая и протирая глаза, – как рыбы в киселе. А еще они рисовали... всячину...*

*– Почему? – спросила Алиса.*

*– А почему бы и нет? – отозвался Мартовский Заяц.*

*Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»*

## Зачин

Аум!

Вначале было слово.

За этим словом – еще одно слово.

Потом еще и еще. Еще и еще.

И когда от слов стало некуда деваться, появился человек. Его сделали для того, чтобы было кому слушать.

Но человек слушать не стал, а как раз наоборот – сам принялся без умолку болтать.

Тогда бог обиделся и смешал все языки.

А затем появился я.

Выбравшись из материнского чрева, оглянулся вокруг и сказал:

– Не лепо ли ны бяшет, братие?

Но «братие» хмуро молчали, ибо ничего не поняли из сказанного мной.

И стал я расти, свято веря в мечту, что однажды снизойдет на меня благодать и поймут меня все «языщи», что услышит мое слово и тунгус, «ноне дикой», и «сын степей» калмык. Но время шло, а оно все не свершалось. Я матерел, становился эстетом, плавно, будто кусок мыла, входил в среду литературоведов и искусствоведов, этих авгуров и шаманов мира переплетов, этих ос, «сосущих ось земную», и сам начинал сосать, вернее, посасывать – так, чтобы на жизнь хватало и еще немного оставалось.

И я изучал Сартра и Камю с их экзистенциальной скорбью о мире, Пруста и Джойса с их тщетными поисками утраченного времени и не менее тщетными попытками досконально отследить путь хитроумного Улисса, многотомного Золя и еще более могучего Бальзака, ловил вместе с хэмовским стариком акулу у берегов Кубы и вникал в извивы больного воображения набокковских извращенцев – одним словом, преодолевал культуру и готовился к тому, чтобы однажды брякнуть по вещим струнам могучими перстами и взречь всесокрушающим басом: «Гой, вы еси добры молодцы!» или на худой конец «Ревела буря, гром гремел!». А может, что-то еще, но обязательно столь же значительное и серьезное.

И вот – пора! Чувствую в себе силы необъятные, мысли неожиданные! А что? Ведь писали же Достоевский или там граф Толстой! Даже какой-нибудь Писемский или Сергеев-Ценский бумагу марали! И в каком количестве! А я чем хуже? И мне пора! Труба зовет!

А стоит ли? Кто станет в наше время читать какую-то глупую книгу того же Сергеева-Ценского или Гарина-Михайловского в восемьсот полновесных страниц? Увольте. Тут дай бог газету в транспорте пролистать да телевизор на ночь послушать. «Беда, ой, беда, – шамкает беззубо гуманист-шестидесятник, воспитанный на могучих глыбах „Архипелага Гулага“, образных экзерсисах академика Лихачева и аллегорических намеках самиздата, – пропала русская культура! Пришел из-за черных гор проклятый буржуин и всю ее с кашей слопал...» «Заткнись, старый хрен! – отвечаю я ему. – Жива русская культура! Не сгинул еще Третий Рим! А вместо того, чтобы печалиться, возрадовался бы лучше, что времена изменились. Иначе бы уж я размахнулся Диккенсом томов на тридцать, растекся бы мыслью по дереву, как Толстой, шмыгнул бы Достоевским по земли, взмыл бы Тургеневым под облака...»

Но не писать мне ни как Достоевский, ни даже как Толстой. Не стану я зеркалом русской революции, не вспомнят обо мне метким словцом благодарные потомки, не назовут матерым человечисем. Не уподоблюсь я графу брадатому, не буду валять многотомные глыбы, не опишу своего первого бала и бескрайнего неба Аустерлица, не явлю миру старый дуб и вожде-ленную ночь в Отрадном, не стану сто двадцать два раза переписывать сцену свидания Анны с

сыном... Не дождется алчное племя литературоведов от меня такой поживы! Спите спокойно, школьники и абитуриенты, вам не будет по ночам являться моя грозная тень!

Я буду краток, как Чехов и изящен, как Уайльд, занимателен, как Майн Рид, и ироничен, как Бернард Шоу, самобытен, как Бунин, и умен, как Моэм. Вперед! Пепел Клааса стучит в мою грудь! Вольные ветры веют в моей голове, пути конквистадоров манят вдаль! Лучше один раз напиться живой крови, чем жить триста лет и питаться падалью! Бежит, бежит степная кобылица и мнет ковыль: грае, грае, воропае, гоп, гоп!..

И пусть даже, свой жизни путь пройдя до середины, я (как и все прочие), очутился в сумрачном лесу, кто-то по-прежнему упорно нашептывает мне в ухо: «Memento mori»! А потом гундит, бубнит и бухает, как африканский тамтам: «Sic transit gloria mundi»! И еле слышным эхом рассыпается вдали: «Pecunia non olet-olet-olet...»

И я внимаю этому голосу. И с радостью отвечаю ему: «Yes it is. I am on duty today!» Мой долг зовет меня вперед. За мной, мой читатель! Без страха и сомнения! Как говорится, яду мне, яду!

## Глава первая

### Ab ovo, или Голый зад профессора Доуэля

Помню, когда мне было лет четырнадцать, я прочел роман Александра Беляева «Голова профессора Доуэля». Там описывалось, как голова означенного ученого после его смерти говорила, о чем-то думала, лежа на столе, и даже шевелила ушами. Все вокруг почему-то удивлялись и считали это великим научным открытием. Если не дословно, то что-то в этом роде.

А мне представлялась иная картина, я бы даже сказал иной сюжет. Представьте. Собирается этот знаменитый профессор откинуться, созывает консилиум, объявляет, что так, мол, и так – после смерти предоставляю свой мозг в распоряжение науки. Натрите мою голову вот этой мазью, хорошенько подымите перед носом жженой пробкой – и задавайте любые волнующие человечество вопросы. Все, конечно, от такого научного подвига в восторге, газеты чуть ли не каждый день об этом трубят, на профессора обрушивается народная любовь и целый дождь из всевозможных наград. В общем, когда и вправду наступает время откинуться, он уходит в мир иной вполне счастливым и заслуженным деятелем науки в окружении многочисленных последователей своей школы, скорбящих аспирантов и доцентов, стенающих истеричных барышень-первокурсниц и приживалок различных мастей. Дальше – все, как полагается: торжественная панихида, долгое прощание в Колонном зале, почетное место на Новодевичьем, памятник на народные средства... И вот наступает ответственный миг извлечения на свет божий (из формалина или, скажем, из жидкого азота) головы усопшего профессора. Собирается государственная комиссия, журналисты, все спускаются в подвал, открывают толстенную дверь сейфа и выдвигают из клочковатого тумана что-то полукруглое, белое, дву-полушарное. Комиссия недоуменно смотрит на поднос. Если это мозг великого профессора, то почему на полушариях так мало извилин? Где нос, глаза – и вообще человеческое лицо? Происходит всеобщее замешательство, журналисты пожимают плечами, но на всякий случай шелкают аппаратами. Наконец решают, следуя завету великого светила, все же натереть останки мазью, а потом подымить перед ними пробкой. Процедура продельвается в благоговейном молчании. И вот наконец все застывает в ожидании чуда. Сейчас будет произнесено неслыханное доселе Слово. Полушария медленно оживают, подрагивают и, кажется, даже немного розовеют. Наконец они слегка приподнимаются, поднатуживаются и... Немая сцена. Занавес.

Тогда, много лет назад, я еще не знал, что в этой фантазии заключался глубочайший философский смысл. Понял я все много позже. Дело в том, что в ней в полном объеме воплотилась, ни много ни мало, основная идея истории. Это были «Отцы и дети» нового времени, «Сага о Форсайтах» наших дней. Правда, об этом я догадался еще позднее, когда уже стал дипломированным специалистом, одолевшим, несмотря на сопротивление материала, Лависса и Рамбо, Тацита и Плиния, Соловьева и Ключевского, Костомарова и даже Гумилева-младшего. Постепенно из хаоса фактов и бессмысленного калейдоскопа толкований возникла, проросла, выпестовалась моя собственная точка зрения. А коль скоро есть точка зрения, то у нее, как и у всякого достойного детища рода человеческого, должно быть генеалогическое древо. Это заняло еще полгода. Наконец все, как говорится, срослось и склеилось. Обозревая свое творение с высоты птичьего полета, с приличествующей долей – как и полагается истинному мыслителю – отстраненности и объективности, я видел его логичность и безупречную стройность, отмечал много новаторского и даже революционного по сравнению со своими предшественниками. Возводя свою историко-философскую родословную к Татищеву и Чаадаеву, я вместе с тем не без удовольствия осознавал, что пошел значительно дальше них. В частности, преодолел однобокость первого и пессимизм второго. А сделал это при помощи следующего бесхитростного, на первый взгляд, умозаключения: «Для того, чтобы понять, каково на вкус

яблоко, вовсе не обязательно съесть его целиком». В переводе на наглядно-бытовой уровень это может выглядеть так: «Увидеть вышеупомянутый дву-полушарный предмет при желании можно было где угодно, даже не спускаясь в окутанный мраком и формалиновыми испарениями подвал». Поразмыслив с месяц, я продолжил высказывание, присочинив к нему постскриптум: «Не стоило также надеяться, что предмет вдруг заговорит человеческим языком, ибо он для этого совсем не предназначен». Еще через несколько лет моя историко-культурная концепция обогатилась новыми данными. Я осознал, в чем состоит героика нашего времени, а также долг «сыновей» по отношению к «отцам». «В чем?» – спросит заинтересованный читатель (как выражались в старину). «В чем?» – повторит, скептически уставившись на меня и качаясь на стуле, читатель незаинтересованный (благо, таких большинство). «А в том, – отвечу я, торжествуя, – чтобы у постели умирающего старого засранца делать вид, что ему все-таки удалось тебя надуть и что после его никчемной смерти ты тоже будешь стоять у подноса с его жалкими останками в надежде на чудо».

Короче говоря, род мой по одной линии восходит к обедневшей польской шляхте, в незапамятные времена перебравшейся на Русь. Когда именно это произошло, бог весть. Может, с полчищами Самозванца и достославного пана Вишневецкого, а может, во время очередного замирения с Речью Посполитой для прорубания все того же окна в Европу. Как бы то ни было, я довольно отчетливо представляю себе этого пана Каменского, лысоватого, рыжего и хитромордого, держащего лавку где-нибудь в Китай-городе, бьющего на конюшне смертным боем работников за нерасторопность и воровство, портящего между делом дворовых девок, а по выходным наряжающегося в панские шаровары и вешающего на бок дедовскую, местами поржавелую саблю, дабы, отстояв службу, прокатиться на тройке с ветерком и отведать на ярмарке блинков с икоркой да под балычок выкушать эдак с полведерочка водки. Дела у тороватого пшека шли, похоже, неплохо, так как фамилия довольно скоро zelo размножилась, и у смертного одра отца-основателя, судя по всему, уже толклась порядочная орава алчных наследников. Чем занимались в последующие годы расплзшиеся по всей необъятной Руси потомки лихого польского пана, история умалчивает. Вероятно, обычными в то время делами: воровством, пьянством, погуливанием с кистенем по большой дороге, торговлей пенькой, мороженой треской, ворванью, лаптями, онучами и прочей дребеденью, службой царю и отечеству как ратным делом, так и приказной ябедой, межевными склоками с ближними и дальними соседями, сбором оброка с крестьян – репой, грибами да моченой морошкой.

По другой линии мне досталась лишь фамилия. В остальном – полный мрак неизвестности. Ветви генеалогического древа теряются в бескрайней крестьянской массе, делаясь более или менее явными лишь на уровне прадеда – деревенского кулака, который, вопреки мнению о косности крестьянства и наперекор известному изречению об «идиотизме деревенской жизни», проникся идеями технического прогресса и во вторую половину жизни заделался на железную дорогу проводником, где и проработал до самой своей кончины, когда по пьяному делу был сбит на путях ночью дрезиной.

В силу отсутствия прямых данных о предках и обстоятельствах возникновения фамилии, я был вынужден (в целях восстановления исторической правды) заняться этимологическими изысканиями. В результате проведенной работы примерно за полгода у меня образовалось несколько версий происхождения фамилии «Родин».

Версия первая (наименее интересная). Фамилия происходит от имени «Родион», точнее, от его уменьшительной формы «Родя». Как указывает соответствующая литература, когда у детей этого самого Роди спрашивали «Ты чей?», они отвечали «Родины», с того якобы фамилия и повелась. В свете этой версии, правда, остается невыясненным, почему существовали целые деревни Родиных. Объяснить это можно либо чрезвычайной плодовитостью самого первого Роди, либо необычайной популярностью этого имени в один из исторических периодов Древней Руси.

Версия вторая (тотемистическая). Фамилия происходит от имени древнего славянского божества «Род», которого некоторые исследователи склонны считать главным в пантеоне славянских богов (см., напр., книгу академика Б. Рыбакова «Язычество древних славян»). В этом смысле «Родины» может означать просто «родичи». Но есть и иная возможность. Бесспорно доказано, что Роду наши далекие предки приносили обильные жертвы, в числе которых были – увы! – и человеческие. В силу этого «Родинами» могли быть те, кто предназначался в жертву Роду. Они и жить могли отдельно (отсюда целые деревни Родиных), готовясь к своему главному предназначению – пасть жертвой в языческом капище, испрашивая для остальных людей милость богов. А попутно вели обычную жизнь – пасли скот, косили сено, справляли прочие естественные надобности. Возможно и более древнее, матриархальное происхождение фамилии – от понятия «родина», образованного по той же схеме, что и слова «братина», «домовина», «пуповина», «свинина», «скотина», «буженина», «неопалимая купина» и т. п.

Версия третья (эллинская). Фамилия «Родин» – греческого происхождения. Явное присутствие того же корня мы можем видеть, например, в названии острова Родос. Примечательно, что один из национальных парков на Родосе так и называется – «Родини». Согласно легенде, название острову было дано из-за красных цветов, которые в изобилии растут здесь весной. «Цветовая» версия неожиданным образом подтверждается и в русском языке при сближении фамилий «Родин» и «Рудин» (см., напр., небезызвестный роман И. Тургенева). Как известно, наши предки, в отличие от нас, имели в своем арсенале носовые гласные, в частности, носовое «о», которое на письме обозначалось как буква «юс большой» (отменена Петровской реформой алфавита). Поэтому в древнем написании фамилий «Рудин» и «Родин» разницы не было никакой. И там, и там писался юс большой и произносилось «о» носовое. Соответственно, и значение было одинаковое – от «рудый», т. е. «красный», «рыжий» (как тут не вспомнить гоголевского Рудого Панько).

Версия четвертая (норманская). Фамилия «Родин» происходит от имени главного божества скандинавов – Одина. Первоначально она так и звучала «Один». Однако слоги в русском языке, как известно, обычно строятся по схеме «согласный+гласный», поэтому в нетипичное для русского уха слово, начинающееся с гласной, был добавлен согласный «р», который, возможно, изначально был звукоимитацией грома или просто боевым кличем.

Версия пятая (маловероятная). Фамилия «Родин» – ирландского происхождения: Р (в отличие от предыдущей версии, скорее всего, был инициалом обладателя фамилии: напр., Роберт, Руперт, Рональд, Руэл и т. п.) + О'Дин (типичная ирландская фамилия). Пришла в Россию, скорее всего, в конце XVII века, когда Россия стала морской державой. Вероятно, означенный О'Дин был одним из шкиперов, которых Петр I в изобилии приглашал из Англии, Голландии, Ирландии и других морских держав для нужд молодого российского флота. Подписываясь, означенный Р. О'Дин писал свою фамилию в соответствии с принятой в его стране орфографией. В русском написании точка после инициала и нетипичный для русского глаза апостроф опускались, в результате чего в конце концов и возникла фамилия «Родин».

Версия шестая (евразийская). Фамилия «Родин» – азиатского происхождения и первоначально обозначала имя и фамилию: Ро Дин (по аналогии с именем и фамилией корейского лидера Родэ У), но затем, как это уже говорилось по поводу ирландской версии, на письме произошло слияние, в результате чего и возникла фамилия «Родин». Как и когда означенный азиат мог попасть на Русь – решительно неизвестно.

Версия седьмая (эстетская). Фамилия «Родин» – французского происхождения. Об этом говорит, в частности, фамилия знаменитого скульптора Огюста Родэна. По-французски его фамилия пишется как «Rodin», т. е. «Родин», если читать это не по-французски, а так, как написано – буква за буквой.

Итак, поле для толкований образовалось весьма широкое. Дабы его немного сузить, я полез в интернет и ввел в поисковике соответствующий запрос. Ссылок вывалилось множе-

ство, но одна меня заинтересовала больше других, поскольку звучала следующим образом: «Генеалогическое древо фамилии Родин». С внутренним трепетом, благословляя современные технические возможности, я открыл сайт и... обалдел. Дерево было большим и весьма разветвленным. Первым же, что бросалось в глаза, были имена – Сара Абрамовна и Моисей Израилевич. Далее шли какие-то Масохи, Хананы, Розы, Яковы, Марки, Ады и Эсфири. Ошарашенный тем, что ранее подобную версию не рассматривал, я начал лопатить информацию в данном направлении. И чем больше я трудился, тем больше в меня закрадывался червячок сомнения. Уже и дед на фотографии казался мне каким-то подозрительным в его круглых очочках, и профессия, которой он отдал несколько лет жизни (бухгалтер), не внушала доверия... В результате я забрел на какой-то форум, где в одном из комментариев прочел следующее: «Увы... И ах... Даже не парьтесь. Родин – исконно еврейская фамилия. Если что, Рода – еврейское женское имя. Обсуждению не подлежит. Тема закрыта».

Окончателность и безапелляционность суждения меня совершенно обескуражили. Единственное, на что мне достало сил, так это заменить жирную точку в конце на многоточие. Решив, что еще как-нибудь потом вернусь к данной теме, я отложил изыскания в сторону и вздохнул свободней.

Но вернемся к прерванному рассказу.

Добрых четыре пятых всех сведений о прошлом моего семейства я почерпнул из рассказов словоохотливых бабушек, а посему за правдивость этих рассказов ответственности не несу. Сведения эти к тому же крайне обрывочны, потому как слушал я эти родовые мифы и предания, когда был еще крайне мал и представления не имел о том, что такое «историческая достоверность».

Бабка моя по материнской линии, Вера Георгиевна, была женщина властная, обладала могучей статью, умела петь под семиструнную гитару, при этом была весьма изобретательна и дипломатична в обращении с людьми и до самой старости у соседей и знакомых проходила под прозвищем «генеральша». Именно от нее я впервые под трепетный гитарный аккомпанимент услышал бессмертную «Мурку», «Сизую голубку», «Гоп со Смыком» и прочие воистину народные произведения. Помню какую-то чрезвычайно пафосную и длинную балладу о двух братьях, один из которых был белым, другой красным, в результате чего они убили друг друга где-то на кургане. Потом – какую-то песню, которую я называл «про кирпичный завод», потому что там были слова «по кирпичику, по кирпичику растащили кирпичный завод», жуткую историю о коварной матери, которая затеяла сжить со свету собственную незаконнорожденную дочь, ну и, само собой, огромное количество романсов – от отцветших в саду хризантем до душистых гроздьев белой акации. У деда (ее третьего по счету мужа) были баян и балалайка, на которых я, помнится, под его присмотром тогда же выучился играть «Русского», «Барыню» и «Светит месяц, светит ясный».

По рассказам бабки, выдали ее замуж рано – за солидного человека, партийного функционера (это было начало тридцатых годов). Фамилия у него была Бутылев и, как оказалось впоследствии, он ее полностью оправдывал. Вскорости партия направила Бутылева в Узбекистан – директором хлопкоочистительного завода. А в те годы, если партия говорила «надо», то отказываться было не принято, так что через пару месяцев чадящий паровоз уносил молодоженов на юг. Тридцатые годы XX века в Узбекистане, по рассказам бабки, мало чем отличались от тридцатых годов XVII или XVIII века. Местные жители, увидев проезжающий мимо автомобиль (у Бутылева был единственный автомобиль на всю округу), с криками «шайтан-арба» валились скопом в придорожную пыль и, закатив глаза и выставив вверх зады, покрытые не стиранными по году и более стегаными халатами, истово молились своему Аллаху. Читать практически никто не умел, найти толковых рабочих была проблема, учить, на какие кнопки нажимать, приходилось как ту собаку Павлова – исключительно апеллируя к рефлексам и универсальному методу кнута и пряника. Судя по всему, знаменитый ученый что-то не дорабо-

тал в своей теории, так как на заводе, по рассказам бабки, все же периодически случались казусы. Например, такой. Хлопок на заводе после очистки сбрасывался в большой короб. Как только короб заполнялся, сверху опускался пресс и сжимал всю хлопковую массу до состояния брикета, удобного для транспортировки. Как-то раз, когда по каким-то причинам отключили электричество, один из узбеков забрался в короб и разлегся на мягком хлопке немного отдохнуть. И то ли уснул он, то ли еще что, но потом, как ни искали, не нашли ровным счетом ничего, кроме розоватых потеков на поверхности брикета. Бутылев особо разбираться не стал и отправил брикет в числе прочих с очередной партией заказчику.

В Узбекистане у бабки родилась первая дочь, которую называли Люба. Именно заботами о ней да походами на базар была заполнена жизнь молодой директорши. О восточном базаре и прочей экзотике она рассказывала много интересного, но я запомнил лишь несколько слов, казавшихся мне тогда чуть ли не какими-то заклинаниями из «Сказок тысячи и одной ночи». Слова были такие: «ничпуль» (это означало «сколько?»), «апа» и «ата» (вежливое обращение к мужчине и, соответственно, женщине). В итоге я даже выучился считать по-узбекски до десяти и знал, в чем различие между арыком, урюком и абреком.

Может, от средневековой тоски, царящей вокруг, а может из-за наследственной предрасположенности, Бутылев начал здорово попить. Нрав его скоро вполне адаптировался под царящие вокруг порядки раннефеодальной эпохи, байство начало переть, как говорится, изо всех щелей. Окончилось все белой горячкой и принудительной госпитализацией почти на месяц. Однако выписался из больницы он по-прежнему директором завода: руководство с пониманием отнеслось к столь распространенному в среде партноменклатуры недугу. Бабка же, испытав на собственной шкуре жуткий нрав своего супруга и его крайнюю непредсказуемость в период «алкогольного делирия», решила от него сбежать, так как добром он ее не отпускал. Несколько раз он ловил ее на станции, даже чуть ли не снимал с поезда, после чего примерно учил «уму-разуму».

Наконец удобный случай представился. К бабке, будучи в командировке, по дороге, заехала жена ее двоюродного брата. Она работала в органах НКВД, нрава была крутого, на поясе в кобуре носила наган. Услышав от бабки всю историю, она, не долго думая, достала этот самый наган и, велев ей брать ребенка и дуть на станцию, пообещала их здесь «прикрыть». Бабка, у которой перед глазами уже вставали сцены кровавой перестрелки, схватила Любку и напрямик, через болото, помчалась на станцию. Только потом, много спустя, она узнала подробности произошедшего. Страхи ее не оправдались. Бутылев так был напуган наличием в его доме представителя органов НКВД, что едва не грохнулся в обморок, так как решил, что это его пришли брать (дело вполне по тем временам обычное). Он тут же согласился на все, поклялся больше не искать бабку, после чего даже предоставил свой личный автомобиль в распоряжение суровой энкэвэдэшницы.

Дома бабка (родом она была из Подмосковья) устроилась машинисткой на какой-то оборонный завод. Ездить приходилось на электричке в Москву где-то с полчаса, потом транспортом еще минут двадцать и, соответственно, обратно – в той же пропорции. Не слишком удобно. Зато именно на этом заводе она познакомилась с неким экономистом Каменским (потомком того самого предприимчивого польского пана). Скоро они поженились, а еще через некоторое время потомка шляхетского рода спущенной сверху директивой направили на Дальний Восток, в военный порт Находка, в должности главного бухгалтера тамошнего Управления лагерей. Когда бабка об этом рассказывала, она не говорила «главный бухгалтер», а произносила сокращенно – «главбух», и мне казалось, что это что-то очень значительное, важное, ничуть не меньше маршала артиллерии. Кроме военных городков и заводов по переработке рыбы и крабов, все пространство этого благодатного края с его сопками, сплошь поросшими кедром, жень-шенем, можжевельником, лимонником и прочей местной флорой, было заполнено лагерями, огороженными колючей проволокой, заборами и сторожевыми вышками. Бабка

жила в городке, Каменский ходил на работу, с зоны то и дело бежали зэки, их ловили и водворяли на место. Так и текла жизнь в этом забытом богом медвежьем углу. Периодически сотрудники Управления использовали зэков для работ на личном хозяйстве, не исключением была и бабка, которая всего через пару лет успела обзавестись солидным домом, двумя коровами, несколькими козами и кроликами. Были в хозяйстве и собаки: немецкая овчарка (куда ж без овчарки!) и доберман-пинчер (пан главбух оказался большим любителем охоты). Пристрастие к овчаркам и вообще к «серьезным» собакам у бабки сохранилось на всю жизнь – даже потом, когда она безвылазно жила в Подмоскowie. Зэки, по свидетельству бабки, были разные – уголовные (не иначе оттуда был бабкин «блатной» гитарный репертуар) и политические, т. е. «враги народа». Но бабка между ними разницы никакой не делала, хотя вторые ей нравились больше, так как, по ее словам, были более вежливые и образованные. Относилась она к ним ровно, кормила всех работников одинаково – по лагерным меркам от пуза.

Здесь у бабки родилось еще несколько детей. Однако выжило из них только двое – Лиза и Анна (матушка вашего покорного слуги). Остальные умерли в младенчестве от всевозможных недугов, недостатка бытовых удобств, а также недоступности плодов медицинской науки. Особо бабка горевала по сыну, который умер в три года, упав с крыльца и ударившись головой о камень. Звали его Виул, что сокращенно означало «Владимир Ильич Ульянов-Ленин». По рассказам бабки, он был чуть ли не с самого рождения чрезвычайно умным, за что и получил такое неординарное имя. Она даже мне показывала слегка пожелтевшую от времени фотографию, на которой был изображен круглоголовый, щекастый бутуз, лысиной и лукавым прищуром глаз и впрямь чем-то смахивающий на великого вождя.

Пан Каменский тем временем тоже начал изрядно попивать. Страстишка эта числилась за ним и раньше, однако с годами она приняла совершенно иной размах. Если вначале он не позволял себе срываться чаще, чем раз в полгода, то теперь запои у него случались с периодичностью раз в месяц. Однажды он зачем-то принес домой в портфеле зарплату на все Управление. Был он при этом в совершенно невменяемом состоянии и, как рассказывала бабка, по дороге ронял из раскрывшегося портфеля пачки денег. До дому «доехало» меньше половины пачек. Было это аккурат году в сороковом, и за такие штуки полагалось как минимум лет десять с конфискацией всего и вся, а то и расстрел – как повезет. Бабка, не долго думая, подхватила среди ночи и побежала искать потерянные деньги. До самого утра она, будто грибы, собирала валяющиеся в придорожной пыли пачки, перевязанные крест-накрест банковской лентой. В результате она нашла почти все – не отыскала только двух, потому пришлось пожертвовать сбережениями, которые копили на поездку в Москву и Ленинград.

Война прошла, оставив по себе воспоминания о пожаре на военном складе (говорили, будто это была диверсия), о крабах, которых варили в огромных чанах прямо во дворе (с тех пор бабка не только не ела крабов, но и не могла переносить их запаха), о кедровых шишках, на заготовку которых ходили все от мала до велика, да о бесконечно кружащих в небе самолетах.

Смерть Сталина и последующее разоблачение «врага народа» Берии отозвались в этих местах странным образом. Недалеко от берега (в точности не известно, по какой причине) был взорван пароход с «цветными металлами». Взрыв был мощный, такой, что во всем поселке в окнах повывлетали стекла. После этого в окрестностях целый день шел какой-то странный дождь – от которого все делалось рябым, на белье оставались грязные разводы, а отведавшие с этим дождичком травки коровы переставали давать молоко и на протяжении нескольких дней мучились какой-то непонятной болезнью, оглашая округу истошным мычанием, – пока их в спешном порядке не забивали на мясо. Виновником всего объявили «врага народа» Берию, который хотел пароход с ценным грузом угнать за границу, но у него ничего из этого не вышло.

Каменский к тому времени, не в последнюю очередь от неумеренного запойного питья, схлопотал рак желудка, который его всего за какой-то год иссушил едва ли не до кости. Схоронив неугомонного потомка шляхетского рода и получив соответствующую компенсацию, бабка

со всем семейством решила перебраться на родину – в Подмоскowie, деревню Полянки, что по пути на Истру. Предприятие удалось. Перевезти смогли не только большую часть домашнего скарба, но и некоторую живность, а именно – собаку-овчарку по имени Мирта и огромного, как енот, черного кота по кличке Арап. Мирта была ученая собака: главбух Управления лагерей частенько хаживал с ней на охоту – на утку, фазана, зайца, а то и на зверя покрупнее. Кот Арап тоже был учен. Но по-своему. Он был авиатор. Пребывая после выпивки в благодушном расположении духа, пан Каменский иногда ему наливал в блюдце валерьянки, после чего брал за хвост и раскручивал над головой. Кот растопыривал все четыре лапы в стороны и, словно тяжелый бомбардировщик, парил в воздухе, не издавая при этом ни звука и лишь сурово жмурясь, навряде какого-нибудь Чкалова во время перелета через Северный полюс или Водопьянова, когда тот через торосы летел спасать папанинцев из ледового плена.

Пан Каменский вообще был весельчак. Обожал музыку, танцы. Как-то раз, допившись до зеленых чертей, стал заставлять жену танцевать, а чтобы та была стоворчивее, время от времени стрелял ей под ноги из ружья.

После переезда бабка на некоторое время устроилась на керамический завод, находившийся неподалеку. Там выпускали кафель, плитку, фарфоровые электроизоляторы и прочие полезные для народного хозяйства предметы. Вскорости она познакомилась с соседом «по имени» – Василием Николаевичем Уткиным, с которым через некоторое время решила связать свою судьбу. Это и был тот самый «дед», которого я помнил и который, собственно, для меня всегда ассоциировался с этим словом.

Дед этот был весьма интересной личностью. Как, впрочем, и его предки. Его мать, баба Дуня, всю жизнь прожила на Кузнецком мосту в огромной квартире и была славна тем, что ни дня в своей жизни не работала. Умерла она, не дожив до ста лет каких-то полтора года, и я, помнится, несколько раз даже был в «кунсткамере» у этого обломка давно ушедшей эпохи. Дом ее был заполнен какими-то древними сундуками, шкапами, пузатыми комодами и прочей антикварной рухлядью. Сходное впечатление на меня произвел разве еще дом-музей знаменитого художника Васнецова, построенный в виде старинной избушки и напоминающий обиталище сказочной Бабы Яги. Сама бабка ходила в каком-то старомодном длинном платье с воротничком-стойкой и бархатным корсажем, которое я про себя тут же обозвал «душегрейкой».

Последних три-четыре года жизни бабка пребывала в жестоком маразме, и потомки по очереди сплавляли ее друг другу на предмет присмотра и общего попечения. Трудно было представить, что в начале века эта безумная старуха, неуклонно утрачивающая не только остатки разума, но и навыки самообслуживания, была цветущей девицей (по моим подсчетам в 1900 году ей было чуть меньше двадцати), из богатой московской дворянской фамилии, и за ней табунами увивались кавалеры, а какие-то офицеры из-за нее даже устраивали дуэль на саблях. У меня в то время представление о дуэлях полностью исчерпывались мрачноватой историей о Пушкине и Дантесе. Но я точно помнил, что они стреляли друг в друга из пистолетов. С саблей же в моем сознании было прочно связан Василий Иванович Чапаев. Как можно на саблях устраивать дуэль, я не мог себе представить. В конечном итоге я сочинил такую картинку: два дюжих усача, в папах и бурках, стоят друг против друга, а потом с криками «ура!» бросаются на противника и что есть силы начинают молотить его саблей. Так это было, или как-то по-другому, бабка не уточняла. Видимо, ей было не до таких пустяков. Она с нескрываемым апломбом и самоуверенностью рассказывала, как в Большом театре собственноручно отлупила «по мордасам» одного чиновника веером за то, что он не вовремя пододвинул ей стул. Она живописала свои «выезды» на театральные премьеры и балы, которые устраивались у московского генерал-губернатора, гулянья на Красной площади и масленичные катания где-то у Новодевичьего монастыря. «А вечером мы обычно ездили кататься на тройке по Кузнецкому, Китай-городу и Тверской! И из-под копыт только прохожие – туда-сюда, туда-сюда!» –

делая широкий жест сухой рукой, разглагольствовала бабка в кругу семьи, предаваясь приятным воспоминаниям. Я все эти рассказы слушал, раскрыв рот, едва ли понимая половину из того, о чем говорилось. Своих детей, не говоря уж о более отдаленных потомках, бабка считала плебеями, так как отец их был «плебейского рода». Дело в том, что после скандальной истории с сыном московского мануфактурщика-миллионщика, который удрал с чужими деньгами за границу, бабка вышла замуж за владельца нескольких ателье и магазинов готового платья господина Уткина. Уткин этот был богачом в первом поколении и еще совсем недавно сам кроил шинели и костюмы из материала заказчика. Довольно быстро он сколотил капиталец и резво покотил в гору, словно беспородный коняга, по прихоти судьбы попавший в одну упряжь с чистокровными рысаками и изо всех сил старающийся доказать, что и он чего-то да стоит. Однако минуло совсем немного времени, и грянула революция. Все ателье и магазины господина Уткина в одночасье были национализированы. Но не зря пройдошливый портной сумел в свое время самостоятельно выбиться «из грязи в князи». Он не стал убиваться по отнятому добру, а, уловив новую конъюнктуру, тут же пристроился шить шинели и прочее обмундирование высшим советским чиновникам и командирам, справедливо решив, что хорошо сшитая вещь нужна при любой власти. Сам Семен Михайлович Буденный и Клемент Ефремович Ворошилов дарили своим присутствием хит рога портняжку. Даже, страшно сказать, один раз от самого Льва Троцкого приходили делать заказ. Скоро удивительным образом почти все ателье и магазины вернулись товарищу Уткину, только теперь в виде государственной собственности, которой он был поставлен управлять. К слову сказать, роскошная супруга товарища Уткина даже во времена военного коммунизма и всеобщей разрухи не оставила своей привычки разъезжать на тройке по Кузнецкому и жить так, словно никакой революции не было в помине.

Признаться, бабка эта производила на меня странное впечатление. Настолько странное, что считаю своим долгом попытаться его объяснить.

Помню, в детстве я неоднократно видел какой-то голливудский фильм, называвшийся, кажется, «За миллион лет до нашей эры». Рассказывал он о жизни первобытных людей – неандертальцев или там кроманьонцев – бог весть. Забавно было не это. А то, что неандерталки и кроманьонки ходили там в аккуратно скроенных из шкур мини-юбках, вполне по моде 60-х годов, на голове имели высокие прически того времени, называвшиеся «бабетты», кожу – не волосатую, а очень даже гладкую и явно мытую мылом и дорогим шампунем. Троглодиты мужского пола были одеты в широкие в плечах пиджаки из шкур, а подстрижены по большей части под полубокс. Все они были очень нежными родителями, поголовно жалели всяких жучков и паучков и постоянно умилялись красотам природы. Сдается мне, что в большинстве наших представлений о прошлом есть что-то от этого фильма. О том же, что там было на самом деле, мы понятия не имеем. Представляю, что было бы, если б вдруг при помощи какой-нибудь машины времени нашего современника перенесли во времена Ивана Грозного, или даже в галантный XVIII век. Думаю, он бы с ума сошел от отвращения. Грубые нравы, грязь, вонь, на улицах повсюду конский навоз, у людей – практическое отсутствие личной гигиены, фурункулез, гнилые зубы, запах изо рта, пятна на одежде, насекомые под кринолинами и прочие прелести. Я также не без удовольствия и злорадства представляю, как на съемки этого самого фильма про троглодитов вдруг при помощи той же машины времени попал бы настоящий неандерталец. Косматый, вонючий, испражняющийся где попало, ловящий в своей шерсти паразитов и тут же с хрустом отправляющий их «на зуб», жрущий руками, чавкающий, рыгающий, то и дело почесывающий здоровенной лапой свои набухшие гениталии. И, самое главное, это был бы не какой-нибудь там заваливающий неандерталец, а вождь племени, «первый парень на деревне».

Когда я слушал излияния бабки Дуни, у меня было сходное чувство соприкосновения с другой эпохой. Она даже не рассказывала о чем-то, она воспроизводила (со свойственной старухам особенностью не помнить того, что было сравнительно недавно, но в мельчайших

подробностях описывать события детства и ранней юности) – ту жизнь, те представления о добре и зле, которые давно уже канули в лету. И я с ужасом взирал на представителя того высшего общества, которое для многих спустя столетие стало образцом воспитанности и изящества. Боже мой, что с нами делают литература и кинематограф! «Слова, слова», – как говаривал один королевский отпрыск датского происхождения.

Довольно долго бабка обитала на Кузнецком в окружении потомков, которые терпели ее самодурство исключительно из-за расчета на недурственное наследство в виде движимого и, в особенности, недвижимого имущества. Она постоянно привечала каких-то приживалок и ни на минуту не давала наследникам расслабиться, угрожая, что завещает все этим приживалкам или отдаст церкви на помин души. Скоро, однако, у нее началось явное помутнение рассудка, и она, как уже говорилось, жила, кочуя от одного потомка к другому. Несколько раз, доведенные до отчаяния, наследники упрашивали Василия Николаевича, который с юности не жил с матерью и никаких претензий на наследство не имел, взять ее к себе. Пару раз он это делал.

Бабка же, при всем при том, что жила «по родственникам», принципиально не ударяла пальцем о палец, не убирала за собой даже в минуты относительного просветления, а иногда даже нарочно гадила в самых неожиданных местах и, дождавшись, когда это обнаружится, делала повелительный жест рукой и говорила: «А теперь убирайте!»

В свете всего этого было вполне понятно, почему дети бабки Дуни едва ли не с младенчества не слишком ладили с матерью, да и с отцом, который после пятнадцати лет супружества был полностью у нее под каблуком.

Василий Николаевич, средний сын из троих, рано ушел из родительского дома. Вначале он подвизался где-то в Осовиахиме, а потом, после армии, пошел по линии ДОСААФ. Страстью «деда» стали мотоциклы. Я не раз разглядывал альбомы, где он был запечатлен затянутым в кожу, в шлеме, с «консервными банками» на глазах, прыгающим через какие-то преграды, стоящим на пьедестале, что-то починяющим в моторе и даже сидящим за чертежами. Сам дед не любил об этом рассказывать, а альбомы с молчаливыми свидетельствами своей молодости держал запертыми в ящиках комода. Там же он хранил и самые вожаделенные для меня предметы – порох, охотничьи патроны, капсулы и разобранный на части винчестер. Фотографии мне давала смотреть бабка, открывая комод большим ключом. Я листал альбомы, а когда она отворачивалась, тырил из открытого комода порох, капсулы и патроны. От бабки же я узнал, что закончилось увлечение деда плачевно. На одном из соревнований он сильно разбился (с того случая у него до самой старости на лбу оставалась довольно заметная шишка). В результате со спортом пришлось распрощаться. Впрочем, любовь к мотоциклам он сохранил на всю жизнь: несколько раз, помню, он меня таскал на стадион «Динамо», когда там проходили международные состязания по спидвею, т. е. мотогонкам на льду. В самих состязаниях я мало что понимал, в памяти осталась лишь фамилия, не сходявшая тогда с уст болельщиков – Тарабанько. Фамилия была звучная и вполне соответствовала тому грохоту, который поднимали мотоциклисты, мчась с сумасшедшей скоростью по ледяному кругу стадиона.

Дед был страстный автомобилист. У него был трофейный горбатый «Опель», под которым он валялся как минимум два дня в неделю. «Гаражная жизнь» была вообще важной составляющей его бытия. Чуть позднее в том же гараже я отыскал старый разобранный мотоцикл ДКВ, тоже немецкий и тоже трофейный. Титаническими усилиями мне удалось поднять из руин этого эсэсовского железного коня, и я даже ездил на приземистой и безотказной, как бульдог, машине, повергая в трепет и изумление всех заядлых рокеров. У деда был приятель – Семен Васильич по кличке «Фантомас», получивший это прозвище из-за полного отсутствия волос на голове, а также некоторого физиономического сходства с персонажем известного французского фильма. У Фантомаса был горбатый довоенный «Форд». Третьим в этой компании был некто Лукьянов. Он имел «Победу», тоже горбатую, тяжелую и неповоротливую, как танк. Когда все трое выезжали на трассу – за грибами или на рыбалку – картина

получалась почти сюрреалистическая. Несколько раз гаишники принимали их за участников ралли старинных автомобилей и даже предлагали выделить машину сопровождения. Простые же шоферы просто пялились на горбатую кавалькаду – так, будто перед ними на шоссе вдруг невеста откуда появился верблюжий караван.

Помню, однажды дед решил выкорчевать тополя, росшие вдоль дорожки к дому. Тополей было три штуки, и разрослись они чудовищно. Да и пуха от них по весне летало невпроворот. Целый день дед трудился: пилил деревья, рубил сучья, расчленил стволы на небольшие пеньки. Дело было ранней весной, и я, одетый в резиновые сапоги и какой-то плащ, толкся рядом. Потом от нечего делать я стал брать тополиные веточки и втыкать в землю вдоль дороги. А через месяц вместо веточек появилась целая молоденькая тополиная роща. Помню, дед очень ругался и дня три выкорчевывал эти «саженцы».

Как-то раз, как рассказывала бабка, деда скрутила болезнь вроде радикулита, но носившая другое, более таинственное название – «спонделез». Скрючило его чуть ли не вчетверо. Врачи вели себя как-то неконкретно, уговаривали госпитализироваться месяца на полтора, причем безо всяких гарантий. А бабка узнала, что где-то в районе Истры живет старая колдунья, которая лечит все болезни заговорами и травами. Бабка очень долго уговаривала деда: как-никак он был членом партии и убежденным атеистом. Наконец дед согласился. Фантомас отвез их на своем «Форде» к месту назначения. Деда внесли в дом. Ведьма, оказавшаяся не такой уж и старой, дала бабке какую-то остро пахнущую и быстро испаряющуюся жидкость и сказала втирать деду в спину и поясницу. Потом что-то долго шептала над ним и водила руками. Полежав на лавке с полчаса, дед вскочил и, как ни в чем не бывало, направился к машине. Все так и ахнули. Но ведьма строго-настрого приказала на две недели завесить в доме все зеркала, не смотреть телевизор и не пить ни капли спиртного. В противном случае, добавила она, ко мне больше не приезжайте. Все так и сделали. Однако через три дня деду приспичило посмотреть телевизор. Что он успешно и сделал. На следующий день, увидев, что ничего страшного не произошло, дед решил отметить свое выздоровление и, позвав друзей, отдал должное пшеничному напитку под приличествующую случаю закуску. Вот тут-то и свершилось то, о чем, как известно, так долго говорили большевики. Ночью дед сделался совершенно ненормальный. Он бредил, метался, зажимался куда-то в угол и вопил, как в дешевом фильме ужасов: «Огонь! Огонь! Гирлянды! Гирлянды!» А наутро его скрючило уже не вчетверо, а раз в шестнадцать. Фантомас (едва проспавшись после вчерашнего), повез деда на своем «Форде» в больницу, где тот и пробыл почти четыре месяца. При этом даже врачи удивлялись, почему процесс выздоровления идет столь медленно, и, как ни пытались, не могли найти этому никакого разумного объяснения. Видно, заклятия ведьмы оказались слишком сильными.

Кстати, о ведьмах. Одно из самых ярких воспоминаний того времени – сказки, которые мне рассказывал дед (разумеется, в те периоды, когда родители сплавляли меня на каникулы «в деревню»). Чтобы меня как-то заставить вечером заснуть, он на ходу выдумывал истории, неизменным и главным героем которых была баба Яга. При этом дело происходило в наши дни и не где-нибудь, а поблизости – в районе Истры, Волоколамска или Нового Иерусалима. Баба Яга в его рассказах ездила на мотоцикле, угоняла машины, за ней охотилось все ГАИ района. Она лежала в каком-то санатории, ходила в поликлинику сдавать анализы и громила домоуправление за то, что ей отключили горячую воду. Я совершенно балдел от этих рассказов. Дед всегда засыпал первым, и я возмущенно толкал его в бок, когда повествование внезапно прерывалось громким храпом.

Когда дед умер, я уже учился в институте. При разборе его бумаг обнаружилось несколько грамот, подписанных лично Лаврентием Павловичем Берией, и снимки со строительства Волго-Донского и Беломоро-Балтийского каналов, где дед работал, когда служил в НКВД. Появились и другие сведения – на поминках говорили о том, что он в свое время спас многих гидростроителей – инженеров, техников и даже ученых. И что именно они потом перетащили

его за собой на работу в «Гидропроект». Даже специально отдел под него создали. Впрочем, обо всем этом при жизни дед никогда ничего не говорил. Однако, о том, что он в прошлом не был рядовым сотрудником какого-нибудь НИИ, можно было догадаться хотя бы по тому, что пару раз он брал меня на парад, проходивший 7-ого ноября на Красной площади. У деда был спецпропуск и стояли мы во время парада не где-нибудь, а на трибунах, расположенных рядом с мавзолеем.

И все-таки баба Яга мне запомнилась больше.

## Глава вторая

### Под счастливой звездой, или «Ох уж мне эти сказочки!»

Сказки рассказывала мне и бабушка по отцовской линии (той линии, от которой мне досталась фамилия). Бабушка происходила из деревни, находившейся где-то в районе Серпухова. Потому сказки ее в основном были народные. Помню, например, совершенно страшную историю под названием «Маша с Наташей», в которой живописалось, как мачеха отправила падчерицу в лес, а медведь за хорошую игру в жмурки одарил ее добром и деньгами. Мачехину же дочку задрал, так как она пожадничала дать мышке (которая, собственно, и бегала от медведя с колокольчиком во рту) ложечку кашки. Были и другие сказки.

Но особенно я любил одну. Называлась она «Ванюшка-бздунук» и была модификацией известной русской народной сказки «Липунюшка». Содержание ее всем хорошо известно. Бездетные старик со старухой завели (каким-то противоестественным образом – то ли из теста, то ли из чего другого) сыночка ростом с пальчик. Он оказался малый не промах и стал вместо отца пахать. Это увидел барин и захотел занять себе такого работника (по другой версии – сына). Подпоив старика (в другом варианте – подкупив), барин сует мальчика в карман и едет домой. Липунюшка по дороге сбегает из кармана и возвращается к старику со старухой.

Сюжет в бабкиной сказке был в целом тот же. Однако имелся ряд особенностей. В частности, в бабкиной сказке был «зачин» следующего содержания:

Жили-были старик со старухой,  
Насрали фунт с осьмухой.  
Срали и в печурочку клали,  
Срали и в печурочку клали...

Собственно, из того, что они клали «в печурочку», и возник в дальнейшем сынок, которого по той же причине окрестили «Ванюшкой-бздунком». Особенно мне нравился эпизод, когда Ванюшка-бздунок убежал от барина, потому что он предварительно «наделявал» ему полный карман. Всякий раз я громко смеялся на этом месте. Что же касается «зачина», то понимал я в нем лишь первую строчку, да еще слово «клали». Тем не менее все эти слова я выучил твердо и довольно бойко мог воспроизводить. И вот однажды, когда в доме собрались гости, меня попросили что-нибудь рассказать. Я охотно согласился. Немного подумав, я объявил название сказки: «Ванюшка-бздунук». Гости на минуту оторопели, потом стали давиться смехом, одновременно выражая свою заинтересованность тем, что же это за сказка. Я воспринял это в качестве знака одобрения своим талантам и принялся рассказывать, намереваясь по ходу дела сократить некоторые моменты, казавшиеся мне не очень интересными, и поскорее подойти к самому моему любимому месту, а именно – бегству Ванюшки-бздунка из кармана барина. Однако дойти до любимого места мне не удалось, потому что едва я произнес:

«Жили-были старик со старухой,  
Насрали фунт с осьмухой.  
Срали и в печурочку клали,  
Срали и в печурочку клали», —

гости принялись дружно сползать со стульев и рассказывать не стало абсолютно никакой возможности. Помню, меня очень удивила бестолковость взрослых: смеяться над какой-то ерундой и не дать мне дойти до самого интересного! Но впрочем, это мелочи.

Теперь же о главном. Точнее – о том смысле, который, как мне кажется, заложен в данном произведении. Однако для этого мне придется несколько злоупотребить вниманием читателя, опять пустившись в пространные рассуждения. Но без этого никак. Поэтому смиренно прошу читателя набраться терпения и приготовиться к, так сказать, полноценному лирическому отступлению.

Итак, смею утверждать, что несмотря на свою внешнюю незатейливость, сказка «Ванюшка-бздунок» – очень серьезное произведение. И хотя понимание этого пришло много позднее, когда я не только окончил школу и институт, но даже поднаторел в разного рода гуманитарных науках, сей факт ничуть не умаляет значение этого поистине сакрального мифа. Если разобраться хорошенько, то это, как говаривал старик Юнг, один из важнейших архетипов человечества. Это миф о творчестве и духовном развитии. Действительно, если присмотреться внимательнее, то нетрудно заметить, что основная идея произведения прослеживается уже в самом начале. Во-первых, мальчика создали что называется из «подручных средств», из самого никчемного, ненужного материала. Однако это не дало повода главному герою отчаиваться, опустить руки, начать себя жалеть... Напротив, он с гордостью носит имя «Бздунок», ему не нужны подпорки в виде предков голубой крови или богатенького папаши, он сам творец собственной биографии. Налицо тот самый принцип – «быть, а не казаться», о котором постоянно говорят психологи. Во-вторых, несмотря на свой малый рост, Ванюшка отправляется пахать, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что жажда творческой деятельности не зависит от внешних условий или природных данных. Важны лишь намерение (как говаривал Кастанеда устами Дона Хуана) и сила для его осуществления. В этой связи можно вспомнить Ван Гога, Пирсmani, Гогена, Ломоносова, Бомарше, Шлимана и других «непризнанных гениев», ставших впоследствии знаменитыми. В-третьих, примечательно отношение Ванюшки к деньгам и вообще стяжательству. Воплощением этих нехороших качеств в сказке является барин. Однако барин не вызывает у Ванюшки ни ненависти, ни даже неприязни. Он принимает все как данность. Его даже не оскорбляет предложение барина заплатить за него отцу денег. Напротив, он тут же ухватывается за возможность помочь финансово родителям и уговаривает отца продать его. Подобный взгляд на мир, широта кругозора, даже авантюризм, присущи во многом культуре Возрождения. Сразу же вспоминаются новеллы Сакетти, «Декамерон» Боккаччо, «Кентерберийские рассказы» Чосера... Шекспир, в конце концов, с его неунывающим Фальстафом, Рабле – с Гаргантюа и Пантагрюэлем!

Возрождение на российской почве, как известно, было не таким ярким, как в Европе, оно проходило под давлением государственной власти, в эпоху Смуты и постоянных войн... Потому и получился в итоге мальчик-с-пальчик по прозвищу «Бздунок». Но это ничуть не умаляет значения данного явления. Как говорят в народе, «мал золотник, да дорог».

И, наконец, в-четвертых (надо заметить, что этот пункт самый важный из всех перечисленных). Ванюшка-бздунок не просто убегает из кармана барина, а предварительно «надевает ему полный карман». Действие, казалось бы, совершенно бессмысленное. По меньшей мере, излишнее как с точки зрения сюжета, так и оптимальной затраты сил на достижение результата (побег). Но Ванюшка, тем не менее, это делает! Вопрос – зачем? Ведь он может просто незаметно убежать. А в таком деле, как известно, промедление крайне опасно. Тебя могут или поймать, или не выпустить, в конце концов ситуация может стать неблагоприятной для побега! Но наш герой не может не поставить в своих исканиях жирной точки. Почему?

Ответ прост. Его совершенно избыточный, необязательный акт «накладывания» барину в карман есть ни что иное, как символ творчества. Ванюшка делает это легко и непринужденно, как истинный артист, исключительно от избытка сил и художественной фантазии. Он не выму-

чивает это решение, а принимает спонтанно, поскольку творчество – это стиль его жизни. К вопросу он подходит чисто по-моцартиански. Вспомним Сальери, которому Моцарт в известной «маленькой трагедии» Пушкина играет «придуманную по дороге безделицу». Он в ужасе: «Как, ты шел ко мне с этим, и при том мог остановиться и слушать уличного музыканта?!» Да, мог! Ему не понять возрожденческой игры и атмосферы карнавала, ему не доступно творчество, истекающее от «избытка сил», для него искусство – это мрачное религиозное служение. «Гений и злодейство – две вещи не совместные», – пишет Пушкин. И что же? Как и Моцарт, Ванюшка-бздунук совершенно не способен на злодейство. Он не пытается ни убить, ни ограбить барина, ни, на худой конец, сжечь его имение. Он лишь жизнерадостно оставляет у него в кармане автограф, эдакую инсталляцию, выражаясь современным языком, – и отправляется своей дорогой.

Косвенным доказательством вышесказанному является еще и то, что процесс «накладывания» (т. е. дефекации) совершенно с Ванюшкой не вяжется. Ведь он уже сделан из продукта «накладывания»! То есть полностью состоит из того, чему в свое время волшебник-Рабле в своем «Гаргантюа и Пантагрюэле» нашел аж 40 синонимов (весьма, правда, затруднив впоследствии работу переводчиков). Другими словами, Ванюшка-бздунук оставляет память по себе как бы своей сущностью, своим естеством. Что же это, если не акт настоящего, подлинного творчества? О содержании которого, естественно, можно спорить. Как тут не вспомнить выставки импрессионистов, придя на которые, возмущенные обыватели орало: «Чушь! Дерьмо!» Дерьмом были поначалу и картины абстракционистов, и экспрессионистов, и сюрреалистов. Да что там далеко ходить? Рембрандт и Гойя подвергались нападкам... Одним словом, когда-то дерьмом было все новое в искусстве. Так что же? Выходит, Ванюшка-бздунук – символ всего новаторского, свежего, нетривиального и оттого не всегда понятного?

Да. Новаторского, моцартианского и возрожденческого.

Дикси.

Подведем итог. В результате долгих размышлений я понял, что не случайно Ванюшка-бздунук был моим любимым персонажем в глубоком детстве, как и то, что наиболее интересным местом во всей сказке мне казался эпизод с бегством главного героя из кармана барина.

Примечательно, что позднее, уже в средней школе, моими любимыми литературными героями стали Незнайка из сказочной трилогии Н. Носова, а также знаменитый сыщик всех времен и народов, созданный сэром Артуром Конан Дойлем. Как я понял еще позже, это были лишь более литературно разработанные образы все того же Ванюшки-бздунка... Но не будем забегать вперед.

## Глава третья

### Спортивный календарь, или Адажио на аккордеоне

Все же должен признать, детство мое в плане литературных вкусов не было однородным. Со временем мои литературные пристрастия менялись. Подобно тому, как в процессе развития литературы на смену мифологии приходит эпос, так и фокус моих интересов постепенно сместился со сказок на «случаи». Каждый раз мы с сестрой, которая была младше на два года, устраивали целую битву – что бабке рассказывать сегодня перед сном. Она требовала сказок (поскольку была младше на два года), а я, будучи уже «литературоведом» со стажем, желал слушать «случаи». Случаи представляли собой незатейливые эпизоды из бабкиной деревенской жизни, например, о том, как они встретили волка, как заблудились в лесу, как ходили за малиной, как впервые попробовали помидор или сыр (и то и другое не понравилось) и т. д. Деревня бабки называлась Хлопово, случаев она знала превеликое множество, и со временем в моем воображении возникло целое эпическое полотно, этакая «Хлоповиада», поражающая своей масштабностью и вместе с тем детальностью проработки. Крестьянской жизни я не знал, мало того, никогда не видел вблизи, а оттого эта реальность была для меня абсолютно виртуальна – эдакое «фэнтези», что-то вроде Толкиновского Средиземья, населенного хоббитами, троллями, орками и еще черт знает кем. В роли злобных орков в бабкиных рассказах выступали обитатели соседней деревни Лопатино. Они строили всяческие козни против хлоповцев и при каждом удобном случае стремились им навредить. Они воровали у хлоповцев сено, подглядывали за хлоповскими девками, когда те купались, колотили хлоповских ребят – но только тогда (как и положено отрицательным персонажам), когда численное превосходство было на их стороне. Своего рода ритуалом во взаимоотношениях этих двух враждующих лагерей было обзывание друг друга через реку, которая протекала примерно на равном расстоянии от обеих деревень и была признана негласной границей тех и других владений. Сгрудившись на берегу по разные стороны мутноватого потока, хлоповцы и лопатинцы осыпали друг друга дразнилками, прибаутками и просто ругательствами, навроде каких-нибудь ахейцев или троянцев перед битвой. Речь обычно сопровождалась соответствующей пантомимой, всевозможными неприличными знаками и оскорбительными жестами. Хлоповцы, например, скандировали:

– Лопатинские рохли  
Без хлеба подохли!

Лопатинцы, не мудрствуя лукаво, отвечали:

– Хлоповские рохли  
Без хлеба подохли!

Но это единственно от глупости и недостатка фантазии.

Погубили бабкин «Илион», по ее словам, грузины. Сталин повсюду на руководящие посты ставил «своих», и коллективизацию в Хлопово приехал проводить именно один из уроженцев древней Колхиды. Золотого руна он с собой не привез, а напротив, методично принялся изымать у селян все, что у них было более или менее ценного. По Прекрасной Елене он также не страдал, зато в массовом порядке пользовал местных девок и баб – кого за буханку хлеба, кого за шматок сала, а кого и просто так – бесплатно. Очень скоро в результате коллективизации в деревне начался голод. Половина жителей вымерла, а вторая половина разбежалась кто куда, предварительно пристукнув в лесу своего «благодетеля». Среди сбежавших была и

бабка. Она подалась в Москву к своей тетке, которая жила на Новослободской, где-то в районе Лесной улицы. Была бабка в то время несовершеннолетней, паспорта не имела, поэтому никто особо разыскивать ее не стал.

Как и многие приехавшие в Москву в ту пору, бабка не чуралась самой разной работы. Она трудилась на швейной фабрике, затем на предприятии, где производили хлебный квас, была домработницей у высокопоставленного советского чиновника, потом уборщицей в столовой, поваром, трудилась в трамвайном депо, на военном заводе в Тушино... Именно на военном заводе она и встретила своего будущего мужа, носившего старинное русское имя Трофим. Они довольно быстро поженились. Им выделили жилплощадь в одном из заводских бараков – длинном, угрюмом, одноэтажном, бревенчатом здании, которое зимой промерзало насквозь. Именно здесь с интервалом примерно в год на свет появились два бабушкиных сына – мой отец и мой дядя. И, надо сказать, родились они вовремя, поскольку Трофимом неодолимо начала овладевать тяга к перемене мест и он то и дело заводил разговоры на тему, а не отправиться ли им на Дальний Восток (весьма модное по тем временам дело). С маленькими детьми о Дальнем Востоке пришлось забыть. Жили бедно и трудно. А через пару лет и вовсе началась война. Трофима на фронт не пустили, поскольку завод сразу перестроился на выпуск «истребителей», моторы для которых он испытывал. Оба сына позднее тоже пошли на завод, где стали работать вместе с отцом. Судя по всему, этот Трофим (которого лично я так ни разу в жизни не видел) отличался крайне непоседливым характером. Он буквально забрасывал начальство заявлениями с просьбой отпустить его на фронт, пока его наконец не вызвали в партком и не вздрючили по первое число – за политическую безграмотность и отсутствие дисциплины. Данное мероприятие серьезно охладило пыл молодого папаши, и он перестал донимать начальство. Однако неизведанные дали все же продолжали манить его, суля новые впечатления, новые отношения, новую жизнь. Война подошла к концу, народное хозяйство потихоньку восстанавливалось, а вскоре пришла хрущевская оттепель – с ее веселым молодым энтузиазмом, спорами между физиками и лириками, первыми полетами в космос и массовым строительством знаменитых пятиэтажек. Трофиму и бабке дали квартиру в одном из подобных домов. Но не того просила мятежная душа Трофима, не того ждала от жизни. И когда в массы был кинут клич отправляться на освоение целины, он не выдержал. Собрался за два дня, оформил соответствующие документы и поставил жену перед свершившимся фактом. Пакуй вещички, мол, едем. Однако совершенно неожиданно бабка, до этого безропотно поддерживавшая все бредовые начинания мужа, довольно твердо ответила «нет». Ей отнюдь не улыбалась перспектива, как она выразилась, «ехать в чистое поле». Женский инстинкт жилища, собственной норы, безоговорочно победил. Спорить было бесполезно. И, похоже, Трофим это интуитивно понял. Пообещав написать сразу же, как только устроится на новом месте, он благополучно укатил на вокзал. С тех пор его бабка не видела...

А сыновья бабки и Трофима между тем росли. Старший продолжал работать на том же заводе, что и отец. Характера он был основательного и усидчивого. Без отрыва от производства окончил ВТУЗ, потом институт, со временем стал начальником цеха, производившего ракетоносители, строил русский космический челнок «Буран», постоянно пропадал на Байконуре, в перерывах между командировками успевал заниматься домом, закатывать собственноручно банки с огурцами и помидорами, воспитывать дочерей и ко всему прочему дымить как паровоз. Курил он очень много. Причем, как сейчас помню, сигареты под названием «Дукат» – специфический продукт, фильтр у которого представлял собой пучок гофрированной бумаги, которую можно было достать и растянуть в длинную полосу (что я в детстве неоднократно проделывал). То ли от нервной работы, то ли от непомерного груза ответственности, взваленного на собственные плечи, то ли от чрезмерного курения, а может, от всего вместе, умер он всего в 54 года от инфаркта. Похоронили его со всеми возможными почестями, а на могильной

плите даже высекли изображение так ни разу и не побывавшего в космосе русского космического челнока.

Брат его (и, соответственно, мой отец) был не столь усидчив и трудолюбив. С раннего детства он увлекался футболом и вместо того, чтобы корпеть над учебниками и грызть гранит науки, предпочитал гонять мяч по улицам с местной шпаной. В течение шести лет, проведенных в армии (в составе спорт-роты, расквартированной в Венгрии), он продолжал все так же гонять мяч. В результате дорос до капитана сборной команды «Южной группы войск». Однако демобилизация поставила его перед необходимостью как-то устраиваться в жизни. Попытка поступить в институт физкультуры с треском провалилась, поскольку, после успешной сдачи всех нормативов, сочинение он написал на «пару». Периодически он мне рассказывал эту трагическую историю и даже называл тему роковой письменной работы – «Образ Наташи Ростовой». Судя по всему, ничего внятного по поводу любимой героини Толстого мой родитель сочинить не смог, в результате чего страница получения профессии спортивного тренера была благополучно перевернута. В конце концов он устроился работать печатником в издательство «Правда», в какой-то степени продолжая семейные традиции, поскольку его дед, по слухам, еще до революции работал в типографии Сытина, где производил листовки, брошюры, а также обои, которые как раз тогда начали в большом количестве печатать на бумаге, а не на ткани, как в прежние времена.

Работал отец посменно, поэтому довольно часто приходил домой за полночь. Но когда бы он ни приходил, обязательно приносил с собой что-то с работы. В основном это были журналы, которые он выпускал – «Огонек», «Работница» или «Крестьянка». Иногда это были альбомы для рисования: одно время он подрабатывал в типографии, которая их выпускала. Выносил он все это с работы, засовывая спереди или сзади в штаны и пряча под свитер. Даже если дома уже было некуда деваться от журналов, он все равно их упорно приносил – видимо, для него это было своего рода компенсацией за неудавшуюся карьеру спортивного тренера.

Один раз он взял меня с собой на работу – как раз туда, где производили альбомы для рисования. Во время визита в цехе появилась начальница и, увидев симпатичного маленького мальчика и разговорившись с ним, решила сделать презент. Она достала альбом и, улыбаясь, протянула мне. Я был воспитанным ребенком и вежливо ответил: «Спасибо, не надо. У меня дома под кроватью полный ящик стоит». «Надо же, – удивилась дама. – и откуда у тебя столько?» «Папа принес», – ответил я безо всякой задней мысли.

Всю дорогу домой отец сокрушался, что я его «так подставил». «Что теперь обо мне подумают? – говорил он. – Что я целый ящик наворовал?»

Я ему искренне сочувствовал, но что ответить не знал – то ли согласиться, то ли пообещать, что так больше не буду. Одним словом, на работу к себе он больше меня не брал.

На «Правде» он проработал всю жизнь, не предпринимая даже попыток как-то переменить положение вещей. Впрочем, по большому счету, это вряд ли требовалось, поскольку издательство «Правда» в то время было самым богатым издательством Советского Союза. Денег не считали. Работников то и дело отправляли в собственные дома отдыха и санатории (два в Подмосковье и один на Черном море), детей почти бесплатно вывозили в собственный огромный пионерский лагерь под Подольском (не в последнюю очередь именно поэтому я летом в основном там и ошивался), профилактическое лечение трудящиеся проходили в собственной больнице издательства, а физкультурой и общим оздоровлением занимались в собственном спортивном комплексе и собственном бассейне, расположенных на улице, которая так и называлась – «улица Правды». Главное государственное издательство могло также позволить себе содержать хоккейную и футбольную команды, «Дом творчества» и кучу другой дорогостоящей социалки. Кроме того, работникам периодически выделяли машины, а также квартиры. Возможно, поэтому руководство не крохоборничало и сквозь пальцы смотрело на всевозможных «несунов». С одной стороны, тырить с рабочих мест было особо нечего, а с другой – бед-

нее организация все равно не становилась. Иногда даже создавалось впечатление, что народ в основной массе тащил с производства скорее из азарта, чем из корысти. Именно этим можно объяснить, что зачастую «тырились» такие вещи, которые в хозяйстве никак не могли пригодиться. В то время вообще были популярны два народных афоризма. Первый: «Они делают вид, что нам платят, мы делаем вид, что работаем». И второй: «Мы не ворует, а компенсируем ущерб, нанесенный государством». В общем, армия тех, кто пер с производства все, что ни попадет под руку, в позднее брежневское время была почти равна населению страны. Мой родитель, как выяснилось позднее, среди работников своего цеха относился к группе «умеренных» несунув. Были, соответственно, и «неумеренные». Особенно среди последних, по словам отца, прославился некто по кличке «Глыба». Впрочем, истории, случавшиеся с ним, (по крайней мере, некоторые из них) заслуживают отдельного описания.

Это был здоровенный, как гоблин, мужик родом из деревни и имеющий неоконченное среднее образование – проще говоря, пять классов. Глыба открыто заявлял, что если он в какой-то из дней не вынес с «Правды» хотя бы гайку, то этот день для него прожит зря. О Глыбе на «Правде» ходили легенды, поскольку он был в своем роде уникальной личностью. Например, по рассказам очевидцев, он никогда не лечился и даже не ходил в поликлинику. В какой-то момент это выяснилось, и поскольку «Правда» была образцовым производством, его обязали пройти диспансеризацию. Среди прочего предписано было сдать анализ кала. Поскольку Глыба не знал, как это делается, он обратился к друзьям по работе. Те, судя по всему, охотно объяснили ему узловыe моменты процесса. В общем, в один из дней в ведомственной поликлинике появился Глыба с трехлитровой стеклянной банкой в руках, наполненной, так сказать, материалом для исследований. Некоторое время он нерешительно толкся в коридоре среди сидящих в очереди пациентов, не зная, куда идти дальше. Минут через десять ему это надоело, и он, стоя посреди коридора, зычным басом спросил, обращаясь, по-видимому, ко всем разом: «Ну, и где тут у вас говно на кал сдают?» Естественно, на следующий день над этим потешалась едва ли не вся «Правда». Однако данным юмористическим инцидентом медицинские мытарства Глыбы не закончились. Видимо, чтобы обследовать полностью, его на несколько дней поместили в стационар. Соседи по палате, уже наслышанные об особенностях нового пациента, решили продолжить славную традицию. По утрам вместе с таблетками всем раздавали направления к тем или иным врачам, а также на анализы. Сперев у медсестры чистый бланк, хохмачи аккуратно заполнили его на имя Глыбы, предписав ему сдать... анализ пота. После чего подложили бумагу в стопку других бланков. Утром следующего дня Глыба взял очередную порцию направлений и вскоре добрался до непонятного анализа. «Да ты что? Ни разу не сдавал что ли? – удивились все, когда он обратился с соответствующим вопросом. – Обычное дело. Все очень просто. Ложись под одеяло и потей. Вот тебе пузырек и ватка. Как вспотеешь, вытирай пот ваткой и выжимай ее в пузырек». Глыба улегся под одеяло. Чтобы ускорить процесс, на него навалили штук десять одеял, собрав со всей палаты, а кто-то приволок даже матрас. За заботами никто не заметил, как начался врачебный обход. Когда главврач в сопровождении «свиты» зашел в палату, то застал такую картину. На одной из кроватей возвышалась огромная гора из одеял, матрасов и подушек. В остальном в палате царил полный разгром. Главврач остановился, обвел всех начальственным взглядом и строго спросил, стараясь пристыдить присутствующих: «Что здесь происходит? Что это за безобразие?» Однако эти слова произвели неожиданный эффект. Гора неожиданно зашевелилась, из-под нее, как голова черепахи из-под твердого, нараставшего столетиями панциря, показалась красная, взмокшая рожа Глыбы и произнесла жалобным голосом: «Анализ пота». И как ни напряжена была ситуация, как ни готовились шутники отнекиваться и всячески отрицать свое участие в подготовке и осуществлении издевательства над ближним, удержаться от хохота никто не смог.

Отец периодически рассказывал разные истории из жизни работников типографии. Но Глыба мне отчего-то нравился больше всех. Я даже поинтересовался у отца, кем он работает, и

в ответ услышал таинственное «такелажником». Что это такое, я не понял, но в моем представлении это навсегда связалось с чем-то трагикомическим: большим, сильным, но одновременно смешным и незлобивым. Все это вспомнилось мне позже, когда я в школе читал бессмертный роман Сервантеса. Черт его знает, почему. Главный герой вроде бы такелажником не был, да и в деревне не жил. Может, тоже в свое время не получил образования, а кроме того над ним потешались все, кто только мог? Вполне возможно.

Работая в полиграфии, родитель не оставил своей привычки гонять мяч. Верность спорту он хранил (как католический священник обет безбрачия) всю жизнь. Он играл в составе сборной своего цеха по футболу, потом и всей «Правды». Он даже умудрялся гонять на коньках в русский хоккей (тоже с мячом, только маленьким и твердым, который перекидывают друг другу при помощи странных клюшек-загогулин). Читал он только спортивную литературу и прессу. По телевизору смотрел исключительно спортивные программы (не считая новостей). По всему дому вечно были разбросаны таблицы очередных чемпионатов по футболу и хоккею, любовно вычерченные им на листах ватмана, куда он (с совершенно мне не понятной целью) вносил результаты только что сыгранных матчей. Периодически кто-нибудь их выкидывал, и через некоторое время раздражался скандал, поскольку именно эта обдрипанная, замусоленная бумажка оказывалась, разумеется, самой нужной в доме вещью.

Надо сказать, увлечение спортом мне всегда, с самого раннего детства, казалось каким-то странным и даже таинственным делом. Я искренне никак не мог взять в толк – ну, выиграл кто-то у кого-то, загнав мяч или шайбу в сетку. Ну, подпрыгнул, пробежал, дунул, плюнул, пукнул – сильнее, дальше, выше, громче всех. И что? Какой от этого получается общественно-значимый результат? Какой, как говорится, выхлоп? И главное – зачем ради этого так усердствовать? Столько сил, пота, тренировок, поездок на сборы, на какие-то соревнования. Вот у древних инков, например, все было понятно. Игра в мяч носила сакральный, обрядово-религиозный характер. Каучуковый мяч символизировал солнце, а игра являлась актом противостояния силам хаоса и преисподней. Самым же примечательным являлось то, что в финале выигравшую команду приносили в жертву богам. То есть во всем был железный смысл. Уверен, что и сегодня, если бы в жертву начали приносить игроков пусть не выигравшей, а хотя бы проигравшей команды, качество игры, как и посещаемость матчей, наверняка бы многократно возросли.

Надо сказать, что несколько раз я честно пытался понять, что движет людьми, увлекающимися спортом. Если самих спортсменов еще как-то можно понять (мышечная активность, эндорфины, повышение обмена и кровотока и проч.), то болельщики всегда оставались для меня абсолютной terra incognita. В старшей школе в качестве эксперимента я даже несколько раз ходил на матчи футбольного чемпионата. Я сидел в самом эпицентре – на «фанатской» трибуне, где все орали, свистели, скандировали какие-то странные речевки, пили из-под полы горячительные напитки и параллельно договаривались, как после матча будут бить болельщиков другой команды. Я честно пытался настроиться на ту же волну, но тщетно. Я не мог отделаться от впечатления, что передо мной с непонятной целью разыгрывается какой-то дурно поставленный спектакль, что окружающие просто придуриваются и что на самом деле все обстоит совершенно по-иному.

Помню, однажды (я учился классе в четвертом или пятом) мы с отцом шли мимо стадиона «Динамо». Там, через дорогу, располагался сквер с небольшим пятачком, возле которого останавливался 42-ой троллейбус. На пятачке толклось человек пятьдесят. Создавалось впечатление, что они все скопом ругаются между собой: так они орали, пытались что-то доказать друг другу, размахивали руками и даже пихались. Увидев, куда я смотрю, отец остановился. «Трепаловка», – пояснил он. Я так и не понял, было ли это названием конкретного пятачка здесь, в парке, или же некоего специального сообщества людей в целом. Постояв на месте минуты две, отец посмотрел на часы и, сказав «а, ладно», перевел меня через дорогу. Оставив

затем метрах в десяти от «трепаловки», ринулся в самую гущу толпы и тоже принялся кричать. Заинтригованный до самой последней степени, я прислушался, пытаюсь во всеобщем хаосе уловить что-то членораздельное. Получилось примерно следующее:

– ...да этот ваш Тютюкин – полное фуфло!..

– ...точно! Его давно пора перевести в дубль!..

– ...а у вас кто? Во всей команде только Фенькин и Понькин играют! Остальных надо на помойку выкинуть...

– ...в прошлом сезоне нормально и двух игр не сыграли...

– ...не забить такой гол!..

– ...во втором тайме пеналь ни за что назначили!.. Судья – говнюк конченный...

И так далее все в том же духе.

Минут через десять отец вылез из толпы. Ни слова не говоря, взял меня за руку и повел дальше. Весь его вид, казалось, говорил: «Ну как? То-то... Вот подрастешь, тоже на „трепаловку“ приходишь будешь».

В школе быть спортсменом тоже считалось престижным. Но не любим, а футболистом или хоккеистом. Тогда как раз проходили знаменитые серии матчей между нашими и канадцами, и все словно с ума посходили. Какие-то одноклассники вырезали хоккейные картинки из журналов и газет и наклеивали в альбомы, все стремились достать клюшки с загнутыми крюками – такими, какие были у канадцев, а не прямыми, как у наших, и прочая, прочая.

Я тогда был как раз влюблен в девушку из параллельного класса. Страдал, как водится, ерундой, вел себя как полный дебил, хотел даже спереть ее фотографию со стенда «Наши отличники», как вдруг оказалось, что она благоволит к однокласснику, который занимается футболом в «Динамо». Внешне этот одноклассник походил на мальчика из пещеры Тешик-Таш, а кроме того имел длинные волосы, которые постоянно сваливались в толстые сосульки, и прыщавую физиономию. Подобные причуды женского сердца не вызвали во мне ни злости, ни отчаяния, только безмерное удивление. Некоторое время я пытался понять, чем же именно он ее привлек, но не найдя ни одного убедительного довода, плюнул на это бесполезное занятие. После чего с облегчением обнаружил, что любовь прошла, не оставив по себе и следа.

И все же на этом мои спортивные мучения не закончились. Отец, видимо, все еще лелея надежду увидеть собственную мечту воплощенной в отпрыске, отвел меня в ЦСКА, где проходил набор в секцию футбола. Даже не поленился потом сходить посмотреть списки. Сказал, что взяли. Передо мной встала сложная дилемма. Или пойти заниматься футболом и со временем начать походить на мальчика из пещеры Тешик-Таш, запрыщаветь и отпустить длинные сосульки вместо волос, или, соответственно, придумать что-то, чтобы, как говорится, соскочить с темы. Я выбрал второе. Хорошенько поразмыслив, я написал на отдельном листке бумаги причины, по которым не могу заниматься футболом (и которые, как я прикинул, могли подействовать на маман в качестве весомых аргументов). Там значилось: а) дорога длинная и опасная, б) на уроки (которые я уже тогда и так практически не делал) времени совсем не будет оставаться, в) в футболе бьют мячом по голове, и через некоторое время в результате этого обстоятельства я неизбежно превращусь в тупого дегенерата, г) прыщи, сваливавшиеся волосы и неприятный запах из-за постоянного потения.

Мать, как и следовало ожидать, с этими доводами согласилась, и в итоге я был избавлен от замаячившей было на горизонте футбольной карьеры.

Последней попыткой отца ввести меня в мир большого спорта стали шахматы. Тогда как раз проходили знаменитые баталии между Карповым и Каспаровым за мировую шахматную корону, и я увлекся этой игрой. Увидев мой интерес, отец возликовал и тут же определил меня в секцию шахмат при местном Дворце пионеров. Проходил я туда где-то с полгода, после чего шахматы мне смертельно надоели, и я, с грехом пополам приобретаю в процессе занятий 3 разряд, завершил свою шахматную карьеру. Правда, потом в летних лагерях я периодически выиг-

рывал разные чемпионаты (незатейливо разыгрывая каждый раз «Староиндийскую защиту» – единственное, чему успел научиться) и даже привозил домой какие-то награды в виде грамот, медных, алюминиевых или пластмассовых медалей. Отец был рад этим маленьким победам, хотя и не показывал вида, поскольку к тому времени уже окончательно отчаялся сделать из меня великого спортсмена. Похоже, он на меня вообще махнул рукой, поскольку не понимал, что это вообще за карьера, если она не связана со спортом. Известных спортсменов (и только их) он всегда считал «великими» и говорил, что «они вошли в историю», хотя я так никогда и не взял в толк, в чем именно их величие и что именно за история, в которую они вошли. Похоже, у нас были какие-то разные истории.

В отличие от отца, у матери был существенно иной взгляд на мою будущность. Впрочем, она тоже в свое время занималась спортом. Зимой бегала на длинных, будто ножи, коньках, а летом (в пору своей учебы в институте) периодически прыгала в высоту и даже толкала ядро на каких-то соревнованиях, о чем наглядно свидетельствовали фотографии в семейном альбоме. Круг ее чтения определялся в основном «дамскими» романами, поэтому настольными книгами у нее были собрание сочинений Жорж Санд и многочисленные произведения Анн и Серж Голон о приключениях небезызвестной Анжелики. Исходя из вышеперечисленного, какая-никакая тяга к прекрасному у нее имела, поэтому примерно классе во втором она определила меня на занятия танцами в клуб имени Чкалова, располагавшийся недалеко от моей тогдашней школы. Занятия там вела пожилая дородная дама, внешне одновременно походившая на Фаину Раневскую и на Фрекен Бок из известного мультфильма про Карлсона. Она была такой же суровой и невозмутимой. Обучение (правильнее было бы назвать это дрессировкой) происходило успешно, в результате чего мы постоянно где-то выступали, танцуя всевозможные «Топотушки», «Барвинки» и «Тарантеллы» на разного рода елках, праздниках, утренниках и встречах с ветеранами. Через год или полтора я категорически отказался туда ходить, гордо заявив, что это «девчачье занятие». После чего демонстративно записался в секцию классической борьбы в располагавшемся неподалеку круглом и оттого сильно смахивавшем на планетарий спорткомплексе «Крылья советов». Еще через два месяца я с борьбой завязал, поскольку едва не надорвал себе пупок, пытаясь перебросить через голову прогибом один из тяжелых манекенов, на которых борцы упражнялись, отрабатывая всевозможные приемы.

Однако приобщение к прекрасному на этом не закончилось. У матери, помню, был портрет Есенина, сделанный с известной фотографии, где он сидит с трубкой, о чем-то задумавшись. Ей портрет очень нравился. И вот как-то раз, отправляя меня в парикмахерскую, она сказала: «Скажи, пусть постригут под Есенина». Зажав в кулаке полтинник, я помчался за угол, где располагалась парикмахерская. Усевшись в кресло, я, как учили, заявил: «Под Есенина!» и потом с удивлением смотрел на вытянувшееся лицо тетки-мастера, которой, похоже, такой фасон не был знаком. В результате я был тупо подстрижен под «Польку» и отпущен на все четыре стороны.

Примечательно, что при всей своей нелюбви к спорту я, тем не менее, с детства проявлял интерес к музыке. Это тем более удивительно, что родители с музыкой всегда были на «вы». От пения матери (если ей вдруг приходила такая фантазия) уши сворачивались в трубочку, а домашние животные начинали выть и проявлять признаки беспокойства, как перед землетрясением. Отец пел только тогда, когда начинал «дурачиться», например, выпив лишку, или затеяв игру с детьми. Видимо, потому, что само занятие это считал дурацким и в высшей степени несерьезным. В ноты, правда, в отличие от маман, он попадал, но сами песни не пел, а «орал», стараясь, чтобы получалось как можно громче. На музыкальных инструментах никто из них не играл и не чувствовал по этому поводу никакого душевного дискомфорта.

И тем не менее, вынужден признать, что мои музыкальные склонности не оставались без внимания. Как-то раз мы с родителями шли мимо музыкальной школы и увидели боль-

шую очередь. Оказалось – прослушивание претендентов на поступление. Вероятно, более по совковой привычке пристраиваться в хвост любой очереди в надежде, что там «что-то дают», чем из стремления действительно меня куда-то записать, родители встали и принялись ждать. Наконец меня позвали внутрь. Как и полагается, вначале заставили спеть, потом воспроизвести сыгранные ноты на пианино. Внимательно изучив мои кисти рук, поинтересовались, на чем именно я хочу заниматься. Я (в соответствии с предварительными наущениями матери), не задумываясь, ответил: «На фортепьяно». Экзаменаторы важно кивнули и отпустили меня с богом – еще битых полчаса ждать, пока какой-то мужик уговаривал родителей отдать меня не на фортепьяно, а на скрипку. Ни на скрипку, ни на фортепьяно меня водить никто не собирався (а уж тем более покупать для этих целей инструмент), но идея, похоже, родителям все же засела в голову. Выходы она дала пару-тройку месяцев спустя, когда меня все же записали в музыкальную школу, располагавшуюся неподалеку от дома. Причем по классу аккордеона. Дело в том, что у моей старшей двоюродной сестры был аккордеон (она когда-то училась на нем играть) и, таким образом, родители убивали сразу двух зайцев: с одной стороны, шли навстречу моим склонностям, а с другой, избавляли себя от необходимости покупать инструмент. Отходил я туда год. Занятия я ненавидел. Во-первых, старшая кузина постоянно вредничала и ни в какую не желала тратить свое время на занятия со мной, а подсказать, что-либо, скажем, по сольфеджио, никто из моей «музыкальной» семьи не мог. Второй причиной моей жгучей ненависти к занятиям был сам инструмент. То бишь аккордеон. Здоровенная дура, которая зверски отдавливала колени и из-за которой во время игры я ни черта не видел. Поэтому играть приходилось что называется «слепым методом», нажимая клавиши и басовые кнопки по наитию, на ощупь. Впрочем, после переезда на новую квартиру занятий музыкой я, к счастью, не возобновил и в музыкальном плане так и остался на довольно долгое время практически полным неучем. Ни Ван Клиберна, ни даже Рихтера из меня так и не получилось.

Позже, уже в старшей школе, когда я увлекся литературным творчеством и просиживал часы напролет над исписанными листками бумаги, отец периодически заглядывал ко мне в комнату, скептически осматривал меня с головы до ног и, произнеся что-то вроде «А, мемуары пишешь!.. Ну-ну, писатель... Лучше бы уроки учил», удалялся в гостиную смотреть по ящику очередной футбольно-хоккейный матч. Мать ничего не говорила и вроде бы даже не участвовала в разговоре, лишь изредка подхихикивала, тем самым выражая свое солидарное с ним отношение к моим глупым и совершенно бесполезным занятиям. «Без блата туда не пролезешь, – наставляла она меня. – Уж я-то знаю, о чем говорю». Отец молчал. Похоже, он был разочарован, что я так и не стал великим спортсменом, который бы «вошел в историю» и о котором бы писали газеты, разумеется, те, которые он читал. Фрак пианиста и лосины балеруны, к разочарованию матери, тоже пришлось мне не в пору. Было похоже, что «предки» поставили на мне крест и окончательно смирились с тем, что я полный тупица и бездарь.

Все же тяга к прекрасному иногда просыпалась во мне и неожиданным образом выплескивалась наружу. Так примерно классе в десятом я вдруг увлекся живописью. Намалевав на холсте масляными красками (купленными самостоятельно и на собственные деньги) пару картин, изображавших фантастические пейзажи других планет, и торжественно подарив их бабушке, я решил, что настала пора переходить к крупным формам. Набросав в карандаше предварительный эскиз, я прямо на двери в свою комнату, «написал» (как говорят художники) абстрактную картину. Представляла она собой следующее. Длинный коридор, уходящий вперед и сплошь выкрашенный в черно-белую клетку, как шахматная доска. Коридор оканчивался выходом в открытое космическое пространство (со всеми положенными атрибутами – звездами, кометами и туманностями). В коридор заглядывала большая полупрозрачная тень (видимо, так я представлял себе инопланетный разум). Прямо посреди коридора висела ломаная кривая зеленого цвета, похожая на кардиограмму (она, по всей вероятности, символизировала земную жизнь). Оглядев свое творение, я остался не совсем доволен. Чего-то не хватало. Я

стал думать. Постепенно распалив себя полетом творческой фантазии, я вошел в раж и, схватив тюбик с коричневой краской, выдавил на картину длинную колбасу, прямо над «кардиограммой». Что это символизировало, я понятия не имел. Наверное, бактерию, или какую-то инфузорию. А может, все было гораздо проще – во мне пробудился неукротимый дух Ванюшки-бздунка, требующий постановки жирной точки после каждого крупного дела.

Надо сказать, родители долго возмущались моим своеволием, зажимали носы и жаловались на вонь, которую я развел в доме своими красками. Через неделю, правда, страсти улеглись (вместе с выветрившимся к тому времени запахом), а через месяц «предки» уже как ни в чем не бывало водили приходящих в дом гостей на «экскурсию» в мою комнату и, будто гиды где-нибудь в Лувре или по меньшей мере в Третьяковке, говорили: «А вот тут у нас – посмотрите – абстрактная картина». После чего все вместе пытались разгадать, что же тут нарисовано. Причем наибольшие споры вызывала именно коричневая загогулина.

## Глава четвертая «Пионерская зорька»

Итак, как все уже давно поняли, родился я на окраине Москвы в самом начале брежневского застоя. Из роддома меня привезли в ту самую хрущевку, которую в свое время дали бабке и ее мужу Трофиму, сбежавшему потом на целину. К моменту моего рождения в малогабаритной двушке уже проживало шесть человек: бабка, ее двое сыновей с женами, а также та самая вредная кузина, которая была старше меня на пять лет. Через два года у меня появилась еще одна двоюродная сестра, а еще через пять – родная. Родители работали, с нами всеми колупалась бабушка, мы не слушались, всячески хулиганили... В общем, текла обычная, размеренная жизнь.

Вокруг дома были палисадники, где росли цветы, кусты и разные деревья. По периметру футбольного поля, располагавшегося во дворе, возвышались яблони, попадались даже кусты крыжовника и смородины – вероятно, отголосок еще совсем недавнего времени, когда это место, близ канала имени Москвы, было пригородом и тут располагались дачные участки. Москва тогда росла в основном за счет деревенских жителей, перебивавшихся в город, поэтому старые привычки они привозили с собой. Бабки ухаживали за деревьями и кустами, сидели у подъездов на лавочках, лузгали семечки и целыми днями перемывали косточки соседям. Особо рьяные – были у нас такие (баба Варя и баба Марфуша) – постоянно гоняли детей из-под окон, чтобы они не топтали зеленые насаждения, а для пущей остротки иногда обливали их из форточки водой.

Был в окрестных дворах еще один персонаж, которого я жутко боялся и которым меня время от времени пугали. Звали его «Ваня с трубкой». Это был мрачный бородатый мужик, одетый в длинную шинель нараспашку и кирзовые сапоги. Он постоянно медленно слонялся по дорожкам в нашем районе, куря огромную трубку-люльку, которая доходила ему почти до пояса. Этот непонятный, донельзя странный образ внушал мне безотчетный ужас, и я, едва завидев его издали, с ревом бросался к кому-нибудь из взрослых.

Другим пугалом для меня был один из предводителей местной шпаны по кличке «Леня сопливый». Прозвище звучало основательно и конкретно. Как какое-то зоологическое или ботаническое наименование, типа «одуванчик полевой», «медведь бурый», «воробей обыкновенный» или что-то вроде этого. Прозвище имело вполне определенное наполнение, а вовсе не являлось уничижительным эпитетом или отвлеченной метафорой. Леня на самом деле был Лней. А кроме того, был действительно сопливым. То ли какая простуда хроническая, то ли застарелый гайморит, то ли еще что-то в этом роде служили причиной, что у предводителя дворовых хулиганов под носом постоянно висели длинные сосульки соплей, на которые он давно махнул рукой и даже не пытался вытереть, – никто не знает. Родители у него, по слухам, были алкоголики и, вероятно, именно из-за этого в Ленином лице явно проступало что-то дегенеративное – крайне неприятное и при этом пугающее.

Словно злобные пришельцы с других планет, эти два персонажа казались мне совершенно непостижимыми и почти нереальными. Когда я не слушался или баловался, бабка меня обзывала «Эх ты, Ваня с трубкой!», или пугала: «Вот подожди, сейчас Ваня с трубкой придет!»

Лет до шести я вообще рос на удивление правдивым и наивным ребенком. Что было, то и говорил. Я не мог понять, как можно сказать то, чего нет на самом деле. Никаких завиральных фантазий (какие обычно бывают у маленьких детей), никаких выдумок, которые практически невозможно отличить от реальности, у меня не было. Но однажды наступил тот самый день, когда я впервые сознательно сказал неправду. Это было примерно так же, как потерять дев-

ственность. Страшно, немного неприятно, зато какие перспективы открываются впереди! Но обо всем по порядку.

С одной стороны дома у нас располагалось футбольное поле. С другой – детская площадка с разными горками, качелями, песочницей и иными приспособлениями детского досуга. Среди прочего была полукруглая качалка, сделанная из металлических прутьев. Внешне она напоминала большущее пресс-папье, на которые в старину снизу надевали пористую бумагу и которыми промакивали чернила, слегка перекачивая конструкцию взад-вперед. Мы постоянно качались на ней. Но однажды уволокли эту качалку с площадки в палисадник, перевернули ее, сверху положили доски, после чего натаскали сена (на пустыре у нас кто-то постоянно косил сено, не иначе держал кроликов или какую-то другую живность) и засыпали все сооружение. Получился довольно вместительный шалаш. Мы, естественно, тут же залезли внутрь и принялись осваивать новое пространство. Набилось туда человек пять. Мы там лазили, галдели и вообще всячески валяли дурака, пока кто-то из девчонок не предложил поиграть в больницу. Последовали простукивания, прослушивания, смазывание воображаемых царапин «йодом» и прочие процедуры. Постепенно область интересов сместилась на уколы, которые делались, разумеется, в нижнюю часть туловища. Все по очереди вкачивали друг другу «пенициллин» при помощи шприцев, роль которых выполняли палки и щепки, подобранные неподалеку. Минут через десять, вероятно, осознав, что занятия медициной предполагают хорошее знание анатомии, мы переключились на изучение этого весьма увлекательного предмета. Поскольку в «фокус-группу» входили и мальчики, и девочки, мы обнаружили для себя много нового и даже несколько странного. Короче, время пролетело незаметно.

Домой я пришел, только когда начало темнеть. Родители сидели на кухне, а возле них вилась вредная старшая кузина. Оказалось, что она во все время нашей игры сидела на лавочке неподалеку (мы видели, что она читала книжку, и не обращали особого внимания). Но она не просто сидела. Вместо того, чтобы читать книжку, она подслушивала и подглядывала – короче, всячески шпионила за нами. И теперь, как говорится, сливала разведданные ошалевшим от услышанного родителям. Не дав мне опомниться, родители тут же учинили настоящий допрос. Я не понимал, что такого особенного и нехорошего мы совершили, но то, что кузина поступает подло, для меня почему-то было очевидно. Особенно меня разозлила ее ехидная ухмылка. Разозлила настолько, что я был абсолютно уверен: начини меня даже пытаться фашисты во главе с каким-нибудь особо злобным штандартенфюрером, я бы им все равно ничего не сказал. Округлив глаза, я удивленно пробормотал, что ничего подобного не было, и для пушего правдоподобия даже поинтересовался «а как это?». Судя по всему, получилось убедительно, потому что родители тут же поверили мне (ведь до этого случая я всегда говорил правду), а слова кузины (которую они тоже недолюбливали за вредность и ябедничество) сочли гнусным поклепом и проявлением нездоровой подростковой фантазии. Такого успеха я не ожидал. И самое главное – какими простыми средствами он был достигнут! Физиономия кузины красноречивее всего говорила о моем триумфе. Не удержавшись, я, уже выходя с кухни, повернулся к ней и втихаря показал язык.

До школы я рос ребенком абсолютно домашним, в детском саду не прижился, и дух коллективизма был мне абсолютно чужд. Я с удивлением смотрел на мальчиков, которые на вопрос «кем хочешь быть?», сурово нахмурившись, без запинки отвечали «солдатом» и, встав во главе детсадовской группы, идущей на прогулку, затягивали какую-нибудь военную песню – про героических панфиловцев, или про дивизию, которая по долинам и по взгорьям, несмотря на все тяготы и потери, продвигалась исключительно вперед. В их мире все было четко и понятно уже с самого раннего детства. Я же ничего подобного о себе сказать не мог. Я с удивлением оглядывался вокруг и искренне пытался понять, как в мире все устроено. А устроено было подчас вовсе не так, как я ожидал.

В школу меня определили находившуюся довольно далеко от дома. Школа была «с преподаванием ряда предметов на английском языке», что по тем временам считалось весьма престижным. Туда меня ежедневно на троллейбусе возила бабушка. Сопровождала она меня месяца полтора, а потом я самостоятельно преодолевал означенное расстояние, распахивая пассажиров в троллейбусе громоздким ранцем и волоча за собой на веревке холщовый мешок со сменной обувью. Именно тогда, в первом классе, я и сделал открытие, оказавшее влияние по меньшей мере лет на семь моей последующей жизни.

В классе я слыл тихоней. Под неусыпным руководством матери я делал домашние задания, читал книжки и вообще – постигал школьную премудрость. В результате был круглым отличником и тютей, которого было грех не шпынять. Однако в один прекрасный день произошло следующее. Был у нас в классе один толстый тип по фамилии Зимаков, который постоянно всех задирали. Его побаивались, причем даже не из-за слоноподобной внешности и явного превосходства в весовой категории, а в основном из-за того, что тетка у него была завучем школы и он чуть что – сразу бежал к ней жаловаться. Не помню уж по какой причине, но во время перемены он принялся приставать ко мне. Как учили взрослые, я пытался не обращать внимания, но получалось это плохо. Наконец что-то во мне щелкнуло, я поднялся и, точь-в-точь как видел в каком-то фильме, схватил отморозка за шиворот и с силой кинул через выставленную вперед ногу. Дело было в классе, и тот со всего размаху шлепнулся в проход между партами. А затем произошло и вовсе чудо. Свин поднялся, развернулся и с ревом бросился вон из класса – по всей вероятности, жаловаться своей тетке. Я буквально обалдел. Оказалось, все очень просто! Даже быть сильнее не обязательно.

Это открытие поразило меня. Помню, я понуро стоял перед классом, пока тетка-завуч стыдила меня за безобразное поведение, а свин злобно смотрел из-за третьей парты. Но внутри меня все ликовало, все было переполнено совершенно новым, ни с чем не сравнимым чувством абсолютной свободы.

Авторитет мой среди одноклассников после описанного случая сильно возрос, но воспользоваться этим у меня не вышло, поскольку почти сразу после Нового года мы переехали на новую квартиру. Определили меня в другую школу (тоже английскую), находившуюся на улице Правды. Войти в новый коллектив, где уже успели сложиться определенные взаимоотношения, всегда непросто, но в этом случае все оказалось еще сложнее. Классная руководительница брать нового ученика в класс не хотела, мотивируя это тем, что у нее и так «комплект». Тогда мать пошла к директору и пригрозила, что пожалуется в РОНО на то, что они не берут ребенка, относящегося к их району. В результате директриса надавила на классную, и та была вынуждена пойти на попятную. Знала бы моя маман, чем это обернется, думаю, вряд ли бы стала так упорствовать.

Новая классная руководительница была дама пожилая, что называется сталинской закалки. Звали ее Антонина Васильевна, и она носила гордое звание заслуженный учитель СССР. Мы были ее последним классом: выпустив нас в среднюю школу, она собиралась уходить на пенсию.

Структура класса, поддерживаемая Антониной, была предельно проста. Во главе стояли ее «любимчик» Вова Клушин и его приятель Саша Колобков. Оба были из «мажоров», так как родители их занимали какие-то важные должности и постоянно разъезжали по заграницам. В Антонине вообще удивительным образом уживались партийно-коммунистическая правоверность и униженное заискивание перед начальством. Естественно, с теми, кого она считала ниже себя, она не особо стеснялась ни в средствах, ни в выражениях.

Помню, как-то раз мы разбирали по составу слова. Приставка, корень, суффикс и так далее. И нам попалось слово «рабочий». Тот, кто отвечал, выделил все слово как корень. Я поднял руку. «Я думаю, – начал я свой ответ, – что здесь корень „раб“, потому что однокоренными словами со словом „рабочий“ являются слова „работа“ и „заработок“»... Договорить я

не смог, поскольку Антонина вскочила со своего места. «Нет! – внезапно завизжала она. – В нашей стране нет рабов!» После этого она завела нудную лекцию об отцах и дедах, которые отдали жизнь за свободу, равенство и социальную справедливость. При этом она испепеляющим взором сверлила меня, а весь остальной класс осуждающе кивал головами. Так я впервые с удивлением узнал, что правила русского языка тоже могут иметь идеологическое измерение и даже являться оружием в руках наших заклятых врагов. О напряженной международной обстановке нам периодически делали доклады. Называлось это мероприятие «политинформация». По понедельникам на большой перемене к доске выходил самолично Клушин и зачитывал по тетрадке, исписанной ровным убористым почерком, что за неделю в мире натворили злые капиталисты. В кармане при этом у него, как правило, лежала буржуйская жвачка, а в пенале – заграничные ручки, карандаши и ластик.

В первый же день моего появления в классе Клушин подошел ко мне в сопровождении Колобкова. По-хозяйски сграбастав мою тетрадку и пробормотав: «Ну-ка, покешь оценочки», принялся ее листать. В тетрадке были одни пятерки, и, похоже, это не понравилось Клушину, который был в классе лучший ученик.

Через неделю мы убирались в помещениях для занятий и их окрестностях. Клушин пришел позже всех и тут же начал распоряжаться – кому куда встать и что делать. Все уже были чем-то заняты, но, несмотря на это, безропотно подчинялись Клушину и принимались исполнять его указания. Когда дошла очередь до меня, я ответил, что уже занимаюсь вполне определенным делом и не собираюсь никуда перескакивать. На нахрапистые крики Клушина я просто послал его подальше. Некоторое время он пристально смотрел на меня, но потом, решив не связываться, молча отошел в сторону. Так началась вражда, которая с переменным успехом продолжалась вплоть до окончания школы.

В смысле успеваемости я очень быстро скатился вниз, хотя и закончил первый класс еще будучи отличником. Если я отвечал у доски и мой ответ был исчерпывающим, Антонина всегда спрашивала у остальных, есть ли дополнения. К моему удивлению обязательно кто-то поднимал руку и повторял то, что я уже в своем ответе говорил. При этом Антонина кивала головой, и создавалось впечатление, что это очень важное и ценное дополнение. Если же у доски отвечал кто-то другой, и я поднимал руку, чтобы что-то добавить, Антонина выслушивала все с кислой миной, а потом говорила, что это либо уже сказали, либо это не имеет совершенно никакого значения.

Как-то раз в газете я увидел статью о том, что умер знаменитый герой гражданской войны Буденный. Меня удивило, что легендарный военачальник, современник еще Ленина и Дзержинского, дожил до наших дней. На следующий день как раз был понедельник, и на большой перемене должна была состояться политинформация. Дождавшись, пока Клушин закончит читать по тетрадке свои сообщения, я поднял руку и сказал, что произошло еще одно важное событие. Далее – сообщил, собственно, новость. Антонина выждала мхатовскую паузу, после чего спросила, обращаясь к классу: «А теперь скажите, кто об этом знал». Все единодушно подняли руки, причем больше всего меня удивило, что руки подняли даже те, кто не только никогда газет не читал, но даже не смотрел новостей по телевизору.

Поскольку все предметы на протяжении всех трех лет начальной школы преподавал один учитель, не было ничего удивительного в том, что уже во втором классе я из отличника превратился в двоечника.

Под дудку Клушина я плясать категорически не хотел, а единственными, кто не входил в число «прихлебателей» Клушина и компании, были два двоечника и лоботряса – Чепцов и Долинин. Чепцов был маленьким и хитрым, Долинин – здоровым и глупым. Вполне логичным стало то, что я примкнул к ним. Очень скоро мы стали практически неразлучны, за что получили негласное прозвище «Святая Троица». Второй и третий класс ознаменовались для меня множеством драк, разбитыми стеклами и носами, двумя попытками выгнать меня из

школы, а также почти постоянными вызовами родителей к классному руководителю и директору (предки, правда, очень скоро попросту наплевали на эти вызовы и никуда не ходили).

Класс наш был разбит на звенья, которые назывались «звездочки». Звездочки дежурили, соревновались в успеваемости, сборе макулатуры, металлолома и другой ерунды. Среди прочего Антониной было введено правило, что дежурная звездочка на большой перемене должна показать мини-концерт: подготовить сценку, загадать какие-нибудь загадки или продекламировать стихи.

Помимо нашей «Святой Троицы» в пятую звездочку входил еще один деятель, но он постоянно болел, так что я даже не запомнил его имени. Кроме того, его скоро вообще перевели в другую школу. К нам несколько раз пытались сунуть еще кого-то, но обычно на следующий же день в школу прибегали испуганные родители несчастного и категорически возражали против того, чтобы их любимое чадо находилось в компании таких отъявленных негодяев, как мы. В конечном итоге попытки разбавить наше звено кем-то еще были оставлены, и мы припеваючи жили втроем, не особо заморачиваясь на то, что в остальных звездочках было аж по пять человек.

Как-то раз мы дежурили. Вытирать доску и мыть после уроков пол – специальной подготовки не требует. Но концерт следовало подготовить заранее, чего мы, само собой, и не подумали сделать. Казалось бы – ну и черт с ним. Но не тут то было. У Антонины имелось правило: если дежурство оказывалось плохим (то есть не нравилось ей лично), то те же самые люди продолжали дежурить на следующий день. Помню, как-то раз мы дежурили целую неделю, при этом достали Антонину так, что она махнула рукой и назначила дежурить следующих по списку, так от нас ничего не добившись. Однако в этот раз перспектива дежурить неделю нам не улыбалась, поэтому мы остались в классе на перемене, предшествующей большой, и стали думать, что делать.

После непродолжительных дебатов мы решили поставить сценку. Ничего ярко-драматического нам в голову не пришло. Вспомнили анекдот. Про Чапаева. Его и решили поставить.

Анекдот был такой.

Прибегает Петька к Василию Ивановичу.

– Василий Иванович! Белые в лесу!

– Садись, Петька, выпьем.

Выпивают.

Прибегает Петька опять.

– Василий Иванович! Белые у околицы!

– Садись, Петька, выпьем.

Выпивают.

Прибегает Петька еще раз.

– Василий Иванович! Белые в деревне!

– Садись, Петька, выпьем.

Выпивают еще.

Петька входит в избу.

– Василий Иванович! Белые во дворе!

– Петька, ты меня видишь?

– Нет.

– Я тебя тоже. Хорошо замаскировались!

Анекдот был незатейливым, но нам казался очень смешным.

Я играл Василия Ивановича, Долинин – Петьку, Чепцову как самому ленивому досталась бессловесная роль охранника. Надо сказать, разыграли мы все довольно артистично. Долинин перед последней репликой долго шатался, потом упал на пол и произнес ее уже из лежачего положения. Класс дружно смеялся. Смеялась и Антонина, сотрясаясь всеми частями своей

объемистой фигуры. Стул, на котором она сидела, вздрагивал и, казалось, вот-вот развалится под тяжестью непомерного груза. Наконец все отсмеялись.

А дальше произошла метаморфоза. Выражение лица Антонины как-то сразу поменялось на противоположное. Словно какой-нибудь знаменитый мим вроде Ингибарова или Марселя Марсо, она мгновенно перешла от одной эмоции к другой. Буквально за пару секунд от бывшего добродушия не осталось следа. Лицо Антонины приобрело свирепое и патриотически-непреклонное выражение.

– А вы знаете, кто такой Василий Иванович Чапаев? – возвысила она свой зычный голос.

Естественно, мы знали, кто это такой. Фильм смотрели, а анекдотов о нем тогда не рассказывали разве что грудные младенцы. Но, судя по всему, вопрос был риторическим и не требовал ответа.

– Василий Иванович Чапаев – это герой Революции и Гражданской войны! – продолжила Антонина. – Он погиб, защищая завоевания...

Речь продолжалась минут десять. Класс затих, настроение масс мгновенно поменялось, все смотрели на нас уже с немым осуждением.

Итогом митинга, в который стихийно превратился наш «перфоменс», явился вызов родителей в школу. Надо признать, родители отнеслись к моим очередным художествам довольно лояльно. Конечно, сделали выговор, чтобы в дальнейшем все же вначале думал, а потом делал. Затем, запершись у себя в комнате, ржали чуть ли не полчаса.

Через день на перемене ко мне подвалил Колобков и с видом белого господина, протягивающего папуасу стеклянные бусы, всучил мне книжку под названием «Орлята Чапая». «Вот, – сказал он, – почитай. Полезно будет». Книжку я взял. Она даже валялась у меня дома где-то с неделю, после чего, так и не удосужившись прочитать, я выкинул ее на помойку.

Чтение книг вообще в классе поощрялось. Но только правильных. Антонина со своей стороны, как могла, просвещала учеников. В качестве награды за хорошие учебу и поведение она на перемене читала вслух книгу Голубевой «Мальчик из Уржума», назидательную синюю пакость, которую я втайне мечтал стащить у нее со стола и торжественно утопить в туалете. Мальчиком из Уржума был один из предводителей партии большевиков – С. М. Киров. Находясь в благодушном настроении, Антонина, услышав звонок с урока, обычно брала со стола книжку и, держа ее в руке, обращалась к классу:

– Ну, что, пойдете на перемену, или почитать вам?

– Почитайте нам лучше «Мальчика из Уржума!», – тут же принимались плаксивыми голосами просить девочки-отличницы и гундеть мальчики-любимчики.

Антонина, поломавшись сколько положено, открывала книжку и начинала с выражением читать нудную тягомотину.

Надо сказать, этот бездарный спектакль меня всегда напрягал. И вот однажды после вопроса, чего мы хотим больше – идти на перемену, или же слушать «Мальчика из Уржума», я заявил, что хочу на перемену, а остальные пусть слушают книжку. В классе повисла мертвая тишина. Словно посередине всеобщего благолепия внезапно выскочил черт из коробки, или прямо из воздуха материализовалось привидение. Провожаемый злобным взглядом Антонины и вылупленными от изумления глазами одноклассников, я встал и не торопясь вышел за дверь. Зачем я это сделал, понятия не имею. Но приятно было невероятно.

Ясное дело, пряников и подарков к Новому году от Антонины ждать после этого не приходилось. Если она и раньше меня не очень любила, то теперь вовсе превратилась в злобную фурию, сделавшей одним из своих главных приоритетов выискивание любых способов максимально отравить мне жизнь. Вполне отдавая себе отчет, что высшая для меня оценка на любом уроке (независимо от предмета, поскольку их все, кроме физкультуры, преподавала Антонина) – это тройка, я не особо парился с выполнением домашних заданий. Да и какой смысл был в приготовлении чего-либо, если доходило буквально до смешного? Как-то раз меня

вызвали отвечать. Тему я знал хорошо, поскольку внимательно слушал на прошлом уроке. На память я никогда не жаловался, а потому воспроизвел все, что говорила Антонина, довольно точно.

Хмыкнув под нос и покачав головой (мол, ничего другого я и не ожидала), Антонина поставила мне тройку, после чего вызвала Клушина – дополнять мой ответ. Тот почти слово в слово повторил то, что я сказал минуту назад. Антонина, покивав, вывела в журнале пятерку. Подлог был настолько очевидным и наглым, что я не вытерпел:

– Но я ведь все это только что сказал!

Антонина словно именно этого ждала, так как тотчас повернула ко мне усмехающуюся толстую физиономию. Затем обратилась к классу:

– Кто считает, что это не было сказано раньше?

Весь класс послушно поднял руки. Антонина выдержала паузу.

– Останешься сегодня после уроков и выучишь тему как надо.

– Я не могу сегодня, – ответил я с места.

– Надо вставать, когда говоришь с учителем! – рявкнула Антонина. – То, что ты остаешься после уроков, обсуждению не подлежит.

Честно говоря, я очень надеялся, что Антонина забудет свою угрозу до конца уроков или хотя бы отвлечется на что-то и даст мне возможность улизнуть. Но не тут-то было. Едва прозвенел звонок с последнего урока, Антонина встала у классной двери, словно фашистский танк на узкой горной дороге, так что проскочить мимо не было никакой возможности. Наконец в классе остался я один. Антонина прошествовала к столу и поместила свой объемистый зад на жалобно пискнувший стул.

– Садись и пиши, – приказала она.

– Не буду, – я не двинулся с места.

– Что?! – Антонина встала и начала надвигаться, будто грозовая туча.

– Я уже сказал, что не могу!

– Ишь ты, какой занятой! И когда же вы почтите нас своим присутствием? – издевательски спросила Антонина.

– Завтра... или послезавтра.

Сочтя разговор оконченным, я повернулся и пошел к двери.

– Куда пошел?! – злобно взвизгнула Антонина. Вскочив со стула, она пребольно схватила меня за плечо и развернула к себе. Я покачнулся и, чтобы удержать равновесие, взмахнул рукой в сторону.

– Что?! – выпучив глаза, заорала Антонина. – Ты на меня замахнулся? Может, еще ударить захочешь?

Минут пять она еще орала, брызжа слюной, потом трусцой побежала в учительскую, а я отправился домой.

На следующий день выяснилось, что она разнесла по всей школе, будто я с ней дрался, что окончательно закрепило за мной репутацию подонка, мерзавца и вообще – врага рода человеческого.

А репутация – вещь прочная. Возникнув один раз, она преследует потом тебя неотвязно, как тень.

Летом я отправился в лагерь, надеясь сменить нездоровую школьную обстановку, а также найти новых друзей вместо успевших меня изрядно достать Чепцова и Долинина. И надо же такому случиться, что в моем отряде оказалась одноклассница, одна из тех противных девочек-всезнаек, которые постоянно везде лезут со своим собственным мнением (впрочем, всегда совпадающим с «генеральной линией») и то и дело выступают на разного рода собраниях, причем с таким видом, точно они по меньшей мере Зоя Космодемьянская, которую за убеждения по сорокаградусному морозу ведут на расстрел. То ли от пустоты своей плоской, как школьная

доска, жизни, то ли от начинающей именно тогда пробуждаться тяги к хулиганистым представителям противоположного пола, говорить ни о чем, кроме как обо мне, она не могла. Периодические встречи со мной в классе и школьном коридоре были, судя по всему, самыми ужасными и, соответственно, самыми яркими впечатлениями в ее жизни. Столкнувшись со мной в лагере, да еще в одном отряде, она, естественно, тут же невероятно возбудилась и моментально всем рассказала о моих подвигах: о том, что я хулиган и двоечник, мерзавец, который не учит уроков, рвет книжки, ведет асоциальный образ жизни и периодически избивает своего классного руководителя. Эти «шу-шу-шу» по углам продолжались пару дней.

В результате весь отряд от меня начал шарахаться, а вожатые смотрели косо и постоянно ждали какого-то подвоха. Смену я провел в гордом одиночестве, недоумевая, почему ко мне столь враждебно относятся люди, которых я даже не знаю.

Впрочем, это был не единственный случай, когда у меня возникали в лагере трудности. Сплавливали меня туда каждое лето, так что опыт был довольно обширным. Например, в лагере была некто Зуева. Вообще-то сказать о ней «была» вряд ли правильно. Дело в том, что номинально это была, как следует из фамилии, девка, но по внешности и поведению... В общем, носила она короткую кучерявую прическу, была коренастой, широкоскулой, ходила по-мужски вразвалку, отличалась агрессивностью нрава и чуть что – сразу же предлагала: «Давай, выйдем!» В лагерь она ездила каждый год с первой по третью смену, знала всех, все знали ее, и где бы что ни происходило (от пионерской линейки до драки стенка на стенку), там обязательно маячила широкая, словно репа, голова Зуевой. В чемодане она постоянно возила с собой бутсы и гетры, потому что играла в футбол на чемпионате лагеря. Всегда и везде вела себя как «основная», с «реальными пацанами» водила дружеские отношения, при встрече разлаписто здоровалась за руку, в речи употребляла слова «в натуре» и «западло», а во время разговора то и дело сплевывала через зубы.

Как-то раз мне довелось быть с Зуевой в одном отряде. Не знаю, что послужило причиной, но только это существо воспыало ко мне каким-то странным, извращенно-садистическим чувством. При встрече она начинала то боксировать мне плечо, то заламывать руку, то тыкать пальцами в спину, называя это «китайский бокс», то внезапно размахивать перед лицом руками, стараясь испугать, то обзывать и так далее в том же роде. Как на это реагировать, я не знал. Связываться не особо хотелось, да и с девчонками драться мне как-то до сей поры не приходилось. С переменной интенсивностью издевательства продолжались целую смену.

Прошел год. Я снова отправился в лагерь – и чуть ли не первый, кого я там встретил, была Зуева. Она шла мне навстречу по аллее и широко улыбалась людоедской улыбкой. Было такое ощущение, что она весь год с нетерпением ждала нашей встречи. На полусогнутых, растопырив руки, как Леонов в «Джентльменах удачи», она приближалась ко мне:

– Кого мы видим! Сколько лет, сколько зим!

Я остановился.

– Отвали.

На мгновение она оторопела. Но очень быстро снова вошла в образ.

– Че? Ты на кого хвост подымаешь? Оборзел?

– Сказал – отвали.

– Точно – оборзел. Пойдем – выйдем?

– Если не отойдешь, то получишь прямо здесь.

Я встал в стойку, которой успел за полтора месяца научиться в секции бокса.

– Да я тебя...

Первый удар пришелся в плечо. Похоже, он получился довольно ощутимым, так как Зуева остановилась.

– Что?! Да я ребятам скажу, они тебя...

Второй удар пришелся под дых. Зуева согнулась, хватая ртом воздух. Наконец ей удалось вдохнуть.

– Куда бьешь? Тут у женщин грудь! – неожиданно сообщила она.

«Ничего себе, – подумал я. – Зуева вспомнила, что у нее есть отдельные женские части тела». Не опуская рук, я молча стоял и в упор смотрел на нее. Так продолжалось с минуту. После чего она повернулась и деловито пошла прочь, стараясь всем своим видом показать, что она еще вернется, причем не одна. Но в этот день она не вернулась. Не вернулась и на второй, как, впрочем, на третий и на четвертый.

«И что, это все? – обескуражено думал я. – Неужто Зуева так просто сдалась? Не может быть». Однако именно так дело и обстояло. Проще некуда.

Драки вообще в те времена были обычным делом среди подрастающего поколения. И лагерь в этом отношении предоставлял массу возможностей. Разбираться «по-мужски» было в порядке вещей. Происходили эти поединки в овраге, сразу за лагерем. Если у кого-то с кем-то возникал конфликт, то они, словно заправские дуэлянты, условливались: «Через час в овраге». Овраг был условным, поскольку представлял собой обыкновенный спуск с холма, на котором располагался лагерь. После назначения места и времени каждый шел к себе в отряд и собирал сторонников. Ровно через час к оврагу с двух сторон подходила орава взлохмаченных лоботрясов – и немедленно начиналась разборка. Как правило, она все же происходила один на один. Толпа с обеих сторон являла собой группу поддержки, а заодно была своеобразным гарантом того, что поединок будет честным. До массовой потасовки с применением свинчаток, ремней с утяжеленными или отточенными бляхами и прочих подручных средств доходило редко. Но когда доходило, то это было настоящее Мамаево побоище. Один раз выясняющие отношения стороны даже разнимали педагоги во главе с бессменным вожатым первого, самого старшего отряда Шуриком, суровым мужиком, в прошлом тяжелоатлетом. Шурик пользовался всеобщим уважением среди подопечных, поскольку сквозь пальцы смотрел на отлучки в деревню за сигаретами, умеренное употребление портвейна, тайные походы в палаты к девочкам под покровом ночной темноты и прочие мелкие нарушения. Девизом здесь было: «Главное – не попадаться, а уж если попался – терпи». Поэтому все терпели, когда им попадало по задницам ремнем, или мимоходом прилетало в ухо по пути к себе в палату после ночной вылазки. Ибо понимали – получили за дело. Авторитет Шурика от этого только рос. Кроме того, он еще «ботал по фене» (то есть умел разговаривать на уголовном жаргоне), поскольку имел «авторитетных» приятелей. Незатейливые афоризмы, которые он порой изрекал, моментально расходились по лагерю, например: «Чтобы кровати были застелены, одеяла заправлены, а подушка стояла, как пиписка утром!»

Однажды я был участником серьезной дуэли на кулаках. Причем не с кем-нибудь, а с Долининым. После третьего класса школа наша переехала в новое здание по совершенно другому адресу, и наши пути с Долининым разошлись. Но поскольку он ездил в тот же лагерь, что и я, мы периодически пересекались.

Было это классе в восьмом. Долинин никогда не отличался особым умом, а тут, видать, к тому же гормон одолел. По этой причине он корчил из себя крутого парня, носил толстенный солдатский ремень и хамил всем без разбора. Меня при встрече он словно не замечал и даже не здоровался. Не помню, где он мне нахамил – то ли в столовой, то ли на стадионе. Слово за слово – в итоге, как и следовало ожидать, было назначено randevu в овраге. Я, преисполненный праведного негодования, собрал изрядную группу поддержки, с которой явился на место встречи. Долинин тоже приперся со своими приятелями, так что всех присутствующих было человек тридцать, не меньше. Все, кроме меня и Долинина, расселись рядами на склоне – словно древние римляне в каком-нибудь Колизее. Я, сняв ремень, принялся было деловито наматывать его на руку. Долинин, увидев это, последовал моему примеру. Публика зашевелилась. «Вы че, офигели?», «Э, на ремнях не надо!» – слышались отовсюду голоса. Общими

усилиями ремни у нас отобрали. У меня еще ликвидировали свинчатку, у Долинина в результате обыска ничего не нашли. Далее, как пишут в романах, секунданты скомандовали «Сходитесь!» – и поединок начался. Долинин дрался размашисто, «по-деревенски», орудуя кулаками, как мельница. Я к этому времени уже почти год занимался карате (повальное увлечение того времени) и предпочитал не как Долинин бомбить по площадям, а выжидать, делая время от времени резкие, точные выпады в наиболее чувствительные места. Продолжался этот эпохальный поединок едва ли не час. Состоял он из восьми или десяти раундов, перемеживающихся перекурами и оживленными обсуждениями болельщиками тактики и стратегии того или иного бойца. Не хватало еще только поп-корна, дудок и плакатов в поддержку своего спортсмена.

Закончилось все следующим образом. Дело в том, что во время драки у меня (если, конечно, драка продолжалась достаточно долго, а не носила характер кратковременной стычки) обычно наступал такой момент, когда неожиданно слетали все тормоза. Ярость переполняла меня настолько, что полностью исчезали любая осторожность и даже инстинкт самосохранения. Об этой своей особенности я знал и постоянно опасался наступления такого момента, поскольку в это время мог кинуться и против троих и против пятерых, вооруженных не совсем безопасными предметами. В тот раз тоже щелкнул «тумблер» и, наплевав на сыплющиеся на меня удары, я схватил Долинина и провел бросок через бедро. После чего оседлал противника, лежащего ничком и начал методично бить его по почкам. Долинин заорал, как кабан, которого только что кастрировали, и принялся лупить ладонью по земле, давая понять, что признает поражение. Я слез с поверженного врага. Тот встал и медленно побрел в сторону.

– Куда пошел? – окликнул я его.

– А что? – Долинин остановился.

– Проси прощения.

– Прости меня, пожалуйста, – пробубнил Долинин, шепелявя разбитой верхней губой.

– Громче, – приказал я.

– Прости меня пожалуйста, – повторил Долинин, напрягая голосовые связки и протянул мне руку.

– Ладно, – кивнул я. – Так и быть, – и прошел мимо, проигнорировав долининскую ладонь.

Весь остаток смены Долинин был тише воды, ниже травы. Морды у нас у обоих были подпорчены, но носили эти свидетельства прошлых баталий мы с совершенно разными чувствами.

О том, что данное событие Долинин запомнил надолго, я узнал совершенно случайно, уже окончив школу. Как-то раз я пришел в компанию, куда меня затащил один из приятелей. Там среди прочих оказался Долинин. Все, как водится, сидели, курили, пили портвейн. Примерно через час Долинин, напившись, принялся лезть ко мне со словами:

– А сейчас ты хрен меня победишь! Пойдем, выясним!

Охоты драться у меня никакой не было, а уж тем более отсутствовало желание вступать в спор с дураком (за прошедшее время Долинин явно умнее не стал). Согласившись, что он сильнее меня и, безусловно, круче во всех отношениях, я через некоторое время попросился и спокойно пошел домой.

## Глава пятая

### Суета сует, или Горизонт событий

Район, в котором мы жили, был довольно старым и имел богатую историю. Меня вообще всегда интересовало, почему улица, на которой я живу, называлась Башиловская. С другими было более или менее понятно: улица Бебеля – в честь немецкого коммуниста, Квесисская – в честь революционера по фамилии Квесис, Мишина – в честь председателя Киевского обкома партии, соответственно, некоего товарища Мишина, даже название «Писцовая» имело свою этимологию – от слова «пески» (или в древней орфографии «пясцы»). И только Башиловская являла собой некую загадку. Мать сказала мне, что раньше здесь бандиты и жулики меняли «баш на баш» наворованное, оттого и название улицы пошло. По ее словам, одно время улицу хотели переименовать и назвать «Счастливая». Даже вешали соответствующие таблички. Но старожилы, эдакие староверы-оппортунисты, по ночам сдирали это название и писали от руки «Башиловская». Не знаю, сколько правды было в этой романтической истории. Скорее всего, немного. К тому же позже из литературы я узнал следующее. Раньше «Башиловкой» называли не только одну улицу, а огромный район, в который входила местность между «Ленинградкой» и «Дмитровкой». Само название восходит к фамилии некого Башилова, директора «Комиссии о строении Москвы», жившего в начале XIX века. Видимо, этот самый Башилов был малый не промах, поскольку, проработав в должности директора градостроительной комиссии всего год, узнал множество полезных сведений о планах расширения города и строительства дорог, после чего быстренько прикупил соответствующие земли, а потом часть из них продал казне с весьма неплохой выгодой. На вырученные деньги ушлый инсайдер оборудовал себе роскошный дом, разбил в районе улицы, аллеи, парки. Даже построил театр и специальный зал для пения – чтобы внимать музам самым непосредственным образом – не покидая собственного жилища. Впрочем, вел он жизнь всегда роскошную, был обласкан еще Екатериной, усидел при Павле. Правда, на некоторое время его отправляли в отставку «из-за непочтительного отношения к публике, пришедшей на театральное представление». Честно говоря, даже страшно представить, что он там такого натворил, что терпение людей лопнуло и они вышли с соответствующим требованием к властям. . . Одним словом, прожил человек жизнь интересную и след по себе оставил немалый. Даже на карте города.

Сравнивая две истории – ту, которую рассказывала мне мать, и эту, не могу с точностью сказать, какая мне нравится больше. Впрочем, романтическим я всегда предпочитал авантюрные сюжеты.

Понятное дело, времена Башилова и иных исторических персонажей давно канули в лету. Но иногда «приветы из прошлого» (хоть и не столь далекого) доводилось получать и нам, мелкой шпане, слоняющейся в окрестностях в поисках приключений.

Прилегающие к Башиловке улицы Писцовая, Бебеля и Квесисские были застроены двухэтажными деревянными домами и одноэтажными кирпичными бараками. Лишь в 60-е годы здесь начали возводить знаменитые хрущевские пятиэтажки, а позже, в 70-е, принялись и за 9-этажные «панелки».

Почти сразу после того, как мы переехали, окрестные деревянные дома пошли на слом. Однако делалось это раньше совершенно не так, как теперь. После отселения жильцов дом мог чуть ли не год стоять пустой. Затем его начинали ломать. Процесс этот тоже происходил не шатко, не валко – в полном соответствии с советской плановой экономикой. Могло быть и так, что крышу и второй этаж разрушали, а остальное опять стояло год, а то и больше, дожидаясь своей очереди. Естественно, все это очень нравилось нам, поскольку предоставляло неограниченные возможности в освоении данного пространства. Мы устраивали там игру в войну или

салки, носились по лестницам и нагромождениям бетонных плит, труб и арматуры, завезенных для строительства нового дома, представляя, что мы парашютисты, шпионы, индейцы и т. д. А один раз мы даже нашли на развалинах клад. Вот как это произошло. На улице Бебеля ломали старый двухэтажный деревянный дом. Это был как раз тот случай, когда строители, начав ломать, внезапно забыли об объекте и оставили его в живописно руинированном состоянии. Половина второго этажа была успешно разрушена, остальное оставалось нетронутым. И вот, бегая между стен, с которых то и дело обсыпалась штукатурка, а из пробоин, будто прутья из недоделанной корзины, торчала деревянная оплетка, мы обнаружили замурованный в стену металлический ящик. Ящик был массивный, с ручками, и походил на железный контейнер с боеприпасами. Тяжелым он был неимоверно, так что вытащить из стены мы смогли его только вшестером. Потом часа два ушло на то, чтобы взломать замок... Внутри ящик оказался забит деньгами. Причем деньги были металлические, «серебряные», достоинством по 10, 15 и 20 копеек. Однако был один нюанс: все эти монеты вышли из оборота после реформы, произошедшей еще в 1961 году. От имевших хождение денег они почти не отличались, единственное – цифры там были выбиты как бы на подложенном под них квадратике, чего не наблюдалось в деньгах современных. Кто их столько собирал и главное – зачем замуровал в стену, было совершенно не понятно. Напихав полные карманы этих денег и хорошенько припрятав ящик, мы отправились обращать монеты в мороженое, квас, газировку, конфеты и другие блага цивилизации. Однако в магазинах у нас эти деньги брать категорически отказались. Тогда мы пошли к автоматам с газированной водой и экспериментальным путем установили, что за десять и пятнадцать копеек автомат наливает простую газированную воду стоимостью одну современную копейку, а за двадцать выдает газированную воду с сиропом стоимостью три современные копейки. Напившись воды и решив, что такой курс обмена не слишком выгоден, мы отправились к метро, поскольку у нас появилась идея – а не попытаться ли разменять наши капиталы в автоматах, выдающих пятаки (раньше их использовали для проезда в метро, опуская в прорезь турникета). Единственная монета, которая подошла по весу, была достоинством в 10 копеек. Автомат к нашему восторгу хрюкнул и со звоном выплюнул два медных пятака. Обрадовавшись, мы начали закидывать старые десятикопеечные монеты в недра машины и набивать карманы полновесными пятаками. Алчность настолько обуяла нас, что мы совершенно забыли про осторожность. Бабка, дежурившая на станции, естественно, заметила группу ребят, с азартом разменивающую в автоматах деньги вот уже на протяжении минут десяти. Это показалось ей подозрительным, и она вызвала по телефону милиционера. Блюститель порядка сразу понял, что дело не чисто, и изо всех сил принялся дуть в свисток. Опомнившись, мы бросились врассыпную. Бежали так, что только ветер свистел в ушах. Прилетев домой, я тут же сел делать уроки – мол, знать ничего не знаю, никаких денег не видел, и вообще – я прилежный ученик... Тем не менее часа через два ко мне домой нагрянула милиция. Оказалось, что кого-то из наших поймали, ну, и они под соответствующим нажимом, сдали всех остальных. Угрюмой толпой мы повели милиционеров к полуразрушенному дому. После чего с грустью смотрели, как те вдвоем, кряхтя, выволакивали наш ящик из тайника, как потом долго размышляли над проблемой доставки груза в отделение. В результате они вызвали на подмогу еще двоих сослуживцев, после чего погрузили сейф в газик и уехали в неизвестном направлении. В общем, разбогатеть нам так и не удалось.

Поскольку в окрестностях всегда была какая-нибудь стройка, мы довольно значительное время проводили на ее территории, лазая по плитам и ворую все, что попадалось под руку – от гвоздей до сварочных электродов. Несмотря на свою казалась бы никчемность, электрод был очень нужной вещью. С него можно было об асфальт сбить покрытие, в результате чего оставался прочный стальной стержень. Стержень затем следовало заточить о бордюрный камень. Получался острый дротик. К нему приделывали древко и использовали в качестве копья или стрелы (в зависимости от размеров древка). Дело в том, что тогда в большой моде были фильмы

об индейцах, которые массово выпускала ГДР-овская студия «Дефа». Поэтому мы привесли на забор какой-то деревянный щит, наделали себе луков и копий (особо дотошные делали даже топоры-томагавки) и принялись отрабатывать меткость.

Был у нас во дворе один тип. Толстый и туповатый, внешностью и повадками смахивающий на собаку-сенбернара. Характером он, правда, был гораздо вреднее, но не об этом речь. Его, кстати, так и звали – «толстый», только переставляли почему-то ударение, в результате чего получалось «Толстой». Так вот этот Толстой тоже сделал себе лук, сперев у бабки несколько вязальных спиц, и присоединился к многочисленной компании стрелков.

При стрельбе был установлен негласный порядок: все по очереди выпускали стрелы, потом шли к мишени и вынимали их. Толстой, как я уже сказал, был несколько туповат, поэтому, выпустив стрелу, он не стал ждать, пока то же самое сделают остальные, а напрямик направился к мишени, переваливая из стороны в сторону свою толстую задницу, напоминая две большие круглые деревенские булки. Никто не успел слова сказать, как тренькнула тетива, и стрела, оснащенная отточенным электродом, просвистела в воздухе и воткнулась напрямиком в одну из этих булок. Толстой взревел, будто кабан, которого собираются лишить жизни. Схватившись за зад, он повернул свою до смерти напуганную физиономию к остальным участникам стрелковых состязаний. Однако ничего утешительного не увидел. Испуг, написанный на их лицах, привел его вовсе в ужас. Толстой взревел еще оглушительней – наподобие паровой сирены – и принялся метаться по двору. Любой другой человек на его месте попытался бы первым делом выдернуть стрелу, по крайней мере как-то схватить ее, зафиксировать. Но тупость Толстого, видимо, находилась в прямой зависимости от эмоционального состояния, поэтому он вообще перестал что-либо соображать. Он бегал по двору, оглашая окрестности страшным воем, из задницы у него торчала стрела, которая в такт шагам моталась из стороны в сторону, причиняя, по-видимому, еще больше неприятностей. Все присутствующие в один миг бросились наутек. Буквально через несколько секунд во дворе остался только Толстой с мотающейся в заднице стрелой. Он орал так, что слышно было, наверное, за несколько кварталов, но стрелу он упорно не выдергивал, и она продолжала болтаться, пока из подъезда не выбежала его бабка и не увела домой раненое чадо. Удивительно было то, что она тоже не стала выдергивать стрелу, а увела Толстого прямо с ней. Видимо, это у них было семейное.

Час или два все отсиживались по домам, потом медленно начали выползать из убежищ. На следующий день во дворе, прихрамывая, появился Толстой. Он был герой дня (не в последнюю очередь потому, что никто из виновников события не был наказан). Толстой рассказывал всем, как его возили в больницу и даже демонстрировал большой кусок пластыря, прилепленный к пятой точке. Все смотрели и понимающе кивали головами.

Я же после этого случая перестал упражняться в стрельбе. И электродов больше не оттачивал, поскольку каждый раз, когда я смотрел на лук со стрелами и даже на их отдельные части, мне сразу вспоминалась толстая задница и торчащая из нее стрела, мотающаяся из стороны в сторону. Мне даже несколько раз снилась эта картина, причем в одном из снов Толстой со злобной ухмылкой прицеливался из лука в меня, а я от него бегал по двору, пытаюсь найти хоть какое-то укрытие.

Одним из самых популярных предметов, который можно было найти на стройке, являлся телефонный кабель. Привозили его в огромных катушках, которые снимали с грузовика краном. Причиной такого пристального интереса было то, что кабель содержал внутри проволоку, покрытую красивой разноцветной пластиковой изоляцией, а сверху был оснащен толстой свинцовой оболочкой. Проволока шла на изготовление браслетов, колец, брелоков для ключей и прочих украшений (все девочки были большие мастерицы в этой области). Свинцовая же оплетка употреблялась для выплавления небольших пистолетов, свинчаток, кастетов, а также черепов (которые потом снабжались цепочкой или веревкой и носились на шее). Плавилось это все прямо во дворе на костре в обычной консервной банке. В силу всего вышеперечисленного,

нет ничего удивительного, что в результате строители потом не досчитывались как минимум метров десяти-пятнадцати. Вероятно, они потом уже сознательно закладывались на это заранее, потому что нас особо никто не трогал и не пытался отобрать кабель обратно.

Вообще отсутствие достаточного разнообразия игрушек и прочих предметов первой (и второй) необходимости в магазинах сильно развивали воображение и изобретательность. В салочки мы играли, бегая по гаражам, через заборы лазали на территорию каких-то заводов и предприятий (где помимо всего прочего можно было что-то стащить), футбольным мячом долбили о свежеевыкрашенную стену дома, оставляя грязные следы, подкладывали на трамвайные рельсы бомбочки, которые в то время умел изготавливать каждый шкет из алюминия (или магния) и марганцовки, играли в расшибалочку пивными пробками и в некую разновидность городков, именовавшуюся «банкой» (поскольку для этой цели использовалась консервная банка, найденная на ближайшей помойке).

Помню, у бабушки (той, что жила под Москвой) как-то по соседству ломали сарай. Хлама там было огромное количество. Что-то народ разбирали по домам, что-то просто выбрасывал, не подозревая, что эта рухлядь для кого-то представляет ценность и называется красивым словом «антиквариат». Среди прочего в сараях оказалась огромная стопка картонок с наклеенными на них ровными рядами спичечными этикетками. Коллекция была огромная и охватывала период от начала Советской власти (1918 год) вплоть до современности. Были там этикетки периода гражданской войны, коллективизации, времени повального увлечения авиацией и парашютным спортом, были военные этикетки, изображавшие проткнутого красным штыком Гитлера, были первый спутник, освоение целины... Короче – история страны в наглядных примерах. Кто был хозяином этой коллекции, так и осталось не известным. Принеся это собрание домой, я свалил его на антресоли. Там оно и лежало, пока я не узнал, что один из моих одноклассников собирает спичечные этикетки. Я договорился с ним об обмене. Клей, которым этикетки были приклеены к картону, от времени разохся, и стоило слегка подковырнуть их ногтем, как они сами отлетали. Я отковыривал раритетные этикетки от картона и связывал в пачки по 50 и по 100 штук. На эти пачки я выменивал у одноклассника пластмассовых индейцев, самолетики, жвачки, машинки и прочие интересовавшие меня предметы. Он же брал канцелярский клей, густо намазывал им страницу в тетради в линейку (отчего многие страницы слипались) и не слишком аккуратно пришпандоривал туда эти свидетельства отечественной истории. Куда он потом все это дел – не знаю. Наверное, выкинул.

Как я уже говорил, после третьего класса для нашей школы построили новое здание в другом районе. Некоторые одноклассники остались учиться на старом месте (у школы был теперь другой номер), а я вместе со всеми перешел по новому адресу. Антонина благополучно ушла на пенсию, у всех школьников СССР появилась новая форма: серые мышинного цвета мешковатые пиджаки и брюки заменили на синие, скроенные по тогдашней моде (пиджаки слегка приталенные, а брюки расклешенные к низу). Все эти изменения давали надежду на то, что жизнь изменится кардинально и в остальном. Однако в этом предположении я сильно ошибся. Ее величество инерция оказалась практически непреодолима. Так что в школе все шло как прежде. С одной только разницей – к репутации хулигана у меня теперь прибавилась еще репутация антисоветчика. Впрочем, стараниями Антонины меня даже в пионеры приняли самым последним (после Долинина и Чепцова), уже в 4-м классе. Но это была лишь прелюдия.

Как раз классе в четвертом мы писали сочинение на тему «Какое желание я бы загадал на Новый год». В то время моей любимой книгой была «Незнайка на Луне» Носова, где в красках изображался капиталистический мир. Просто писать сочинение было скучно, и я сдуру настроил следующее. Будто бы я хочу уехать в Америку и сделаться гангстером, грабить поезда и банки, играть в казино и на скачках, а в качестве дополнительного бизнеса – торговать оружием. В общем, жить в свое удовольствие. Хоть это была и неудачная, но шутка: типа Новый год, праздники, розыгрыши... Но шутки никто не понял. На уши была поднята вся админи-

страция школы. Повод был серьезнее некуда: в четвертом «Б» завелся антисоветчик. В срочном порядке в школу были вызваны мои родители, после чего с ними состоялась двухчасовая беседа. Родители, хоть и не поняли, что я такого из ряда вон выходящего совершил, всыпали мне по первое число с формулировкой: «Не фиг выпендриваться. Пиши то, что требуют, дабы не было разбирательств и нас не тягали в школу из-за всякой ерунды».

Несколько позднее я научился довольно похоже пародировать Леонида Ильича Брежнева (тогдашнего руководителя СССР). Благо это было не сложно сделать: следовало лишь говорить медленно, низким голосом и неразборчиво – как пластинка, которую вместо 45 поставили на 33 оборота. Выходило достаточно смешно. Я делал постную физиономию, втягивал шею, чтобы получались второй подбородок и обвислые щеки. Затем, будто робот, поднимал согнутую правую руку и произносил бессмысленную длинную речь в защиту хомяков или о том, что Волга впадает в Каспийское море. Народ смеялся и всюю подражал. Скоро почти все особи мужского пола освоили эту нехитрую пародию и при каждом удобном случае демонстрировали означенные умения. Кроме того, у нас были весьма популярны анекдоты, высмеивающие немощь, старческое слабоумие и патологическую любовь к наградам руководителя страны. Помню, ходил такой стишок:

Это что за Бармалей  
Взобрался на мавзолей?  
Брови черные, густые,  
Речи длинные, пустые.  
Кто даст правильный ответ,  
Тот получит десять лет.

Десять лет, конечно, никому не давали, и это говорилось больше для красного словца, ну, или по старой памяти (старшее поколение хорошо помнило времена, когда «в стране был порядок»).

Классе в восьмом я съездил на экскурсию в Троице-Сергиеву лавру и купил там алюминиевый крестик, который стал носить на цепочке. Особо религиозным я никогда не был, так что это была, скорее, своего рода «фига в кармане» по отношению к государству, где, как известно, одной из главных идеологических догм являлся «научный атеизм». На этой почве у меня произошел громкий инцидент с нашей директрисой. Но для начала следует сказать несколько слов о ней. Звали ее Тамара Павловна Абакумова. Тамара была ветераном войны, и не просто ветераном, а летчицей, бороздившей небесные просторы на истребителях в составе полка Марины Расковой. Как потом она стала директором школы, одному богу известно. Характер у нее был вспыльчивый, темперамент вполне соответствовал полученной военной специальности. Разговаривать просто она практически не умела, и буквально минуты через две абсолютно любой разговор переходил в жуткий ор. Входя утром в двери школы, вполне можно было слышать, как Тамара вопит на кого-то этаже эдак на третьем. Уловив издали переливы ее незабываемого меццо-сопрано, все предпочитали если не раствориться в воздухе, то по крайней мере ретироваться в более безопасное место как можно быстрее.

В тот день у нас было комсомольское собрание – как всегда, нудное, длинное и до невероятности пустое. Смыться с него не удалось, поскольку Тамара самолично встала на выходе из школы и принялась следить, чтобы старшеклассники не улизнули с мероприятия.

Отсидев половину этой тягомотины, я впал в совершенное уныние и машинально принялся теревить висящий у меня на шее крест. Через некоторое время мой сосед предостерегающе пихнул меня в бок локтем. Обернувшись, я увидел, что ко мне, как говорится, на бреющем полете, приближается Тамара. Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. Быстро

сняв с шеи крест, я спрятал его во внутренний карман пиджака. Подойдя вплотную, Тамара прошипела:

– Давай сюда!

Я непонимающе уставился на нее, всем своим видом показывая, что не имею ни малейшего представления, о чем идет речь.

– Дай сюда немедленно! – повысила голос Тамара.

Я опять скорчил физиономию иностранца, к которому на улице вдруг обратился прохожий на непонятном языке.

– Из кармана доставай! – начала терять терпение директриса.

Я залез в карман и принялся возмущительно медленно копаться в нем. Наконец мне удалось отцепить крест от цепочки. Оставив его в кармане, я вынул цепочку и отдал Тамаре. Это окончательно вывело ее из себя.

– А ну, давай крест сюда! – взвизгнула она. – Остановите собрание!

Собрание остановилось, и весь актовый зал уставился на меня.

– Давай сюда сейчас же! – уже не сдерживаясь, заорала Тамара.

– Зачем? – поинтересовался я.

Дальнейшая тирада была столь же громка, как и ужасна. Честно говоря, лавры Джордано Бруно меня никогда не привлекали. Галилей мне всегда казался гораздо умнее. Достав крест, я отдал его Тамаре. Та еще некоторое время разорялась на предмет того, что комсомольцы позволяют себе носить на шее предметы религиозного культа и участвовать в крестном ходе на Пасху. Потом переключилась на девиц, которые носят в школе сережки и даже (о, ужас!) красят ресницы. Постепенно она выпустила пар и, успокоившись, села на место. Прерванная комсомольская тягомотина возобновилась и продолжалась еще часа полтора.

На следующий день я, придя домой, намешал в кастрюле гипса, а когда тот застыл, нацарапал в нем при помощи отвертки и обычной швейной иглы крест раза в три больший, чем у меня был. Затем в консервной банке прямо на домашней газовой плите я расплавил олово, которое обычно использовали для пайки электрических схем (я тогда как раз ходил на занятия в радиокружок), и залил в форму. В общем, на следующий день у меня под рубашкой скрывалась «фига» куда больших размеров, чем раньше. Встречая в коридоре Тамару, я очень вежливо здоровался и улыбался обворожительной, таинственной улыбкой.

Надо сказать, что в комсомол я вступал так же, как и все, – исключительно для того, чтобы затем поступить в институт (не комсомольцев в институт тогда просто не брали). Во время процедуры обсуждения и утверждения кандидатуры следовало говорить стандартные, заученные фразы, вроде того, что, мол, хочу быть «в авангарде советской молодежи». Поскольку абсолютно вся советская молодежь состояла в комсомоле, было решительно не понятно, какая именно ее часть является этим самым авангардом. Однако подобных вопросов я уже никому не задавал, поскольку как-то раз попытался это сделать на уроке обществоведения, когда мы изучали очередную работу Ленина. В результате я был назван негодяем и провокатором и изгнан с урока. Поэтому я со скучающим видом бубнил что-то про авангард и советскую молодежь, комитет сонно утверждал кандидатуру, а секретарь потом с постной физиономией вручил мне комсомольский билет.

Надо сказать, что преподаватели «идеологических» дисциплин (за время учебы в школе, а затем в вузе их набралось немало) никогда не ставили мне пятерок. Меня это немало удивляло, поскольку уже к первым курсам института я овладел марксистским словоблудием в совершенстве. Дело было нехитрое, поскольку все там так или иначе сводилось к двум-трем банальным идеям типа «борьбы классов» и «революционных скачков» в развитии общества. Мне даже было как-то любопытно, почему они упорно, прямо-таки с коммунистической непримиримостью, продолжают мне выводить в зачетке «хорошо», хотя я отвечал абсолютно на все вопросы. На одном из экзаменов я это осознал. После моих пышных и многословных

экзерсисов относительно понятий, сформулированных в билете, преподаватель вдруг молча уставился на меня и смотрел после этого чуть ли не минуту. В его взгляде явственно читалось: «Я ведь прекрасно понимаю, кто ты есть. И ты прекрасно знаешь, что я понимаю, кто ты есть. А я, в свою очередь, вижу как на ладони, что ты прекрасно знаешь, что я понимаю, кто ты есть». После этого он усмехнулся и спросил: «Четыре?» Я усмехнулся в ответ и молча кивнул. Больше у меня никаких вопросов никогда не возникало.

Но это было позже. А в школе я проявлял порой весьма неуместную любознательность. Помню, на выпускных экзаменах в десятом классе мне достался вопрос о сущности метода социалистического реализма. К предмету я относился серьезно, поскольку уже тогда твердо решил связать свою жизнь с литературой. Дойдя в процессе подготовки к экзамену до данного вопроса, я решил разобраться, что же такое соцреализм. Я честно проштудировал источники, которые были под руками, – и ничего не понял. Тогда я специально пошел в библиотеку и заказал двухтомный труд под названием «Социалистический реализм». Просмотрев десятки и даже сотни страниц, заполненных идеологической ахинеей, я так и не стал более подкован в этом вопросе. Поэтому на экзамене я честно сказал, что прочел по теме целый двухтомник, но не понял, что же это такое. Лица экзаменаторов вытянулись. Их возмущению не было предела. Я наивно ожидал, что они хотя бы здесь, на экзамене, разъяснят мне, что к чему. Но они не стали этого делать. Весь их вид выражал такое презрение, что становилось совершенно очевидно – разговаривать с человеком, не знающим, что такое соцреализм, совершенно не о чем. Подозреваю, что к тому времени мнение обо мне не только как о хулигане (в прошлом), но и о политически неблагонадежном типе (в настоящем) прочно утвердилось среди учителей. Так что к моей антисоветской вылазке на экзамене они, вероятнее всего, были морально готовы.

В 1982 году умер Брежнев, бессменно возглавлявший страну на протяжении последних 18 лет. Стояла промозглая, сырая осень. Летом я не поступил в Московский университет и теперь был более или менее свободен, что позволяло мне чаще видеться с приятелями и проводить время с ними, болтаясь по улицам в поисках приключений. В тот день мы шли вдоль по Масловке. Машин на дороге почти не было, стояла необычная тишина. На зданиях висели мокрые и обвисшие от морозящего дождя флаги с траурными черными ленточками. Листья с деревьев опали и, будто скорбя, воздевали голые ветви к небу. Надо заметить, что почти полдня до этого мы просидели дома. По телевизору показывали фильм-сказку «Город мастеров». Раньше что-то стоящее показывали редко (тем более что каналов было всего три), поэтому все еще раз отсмотрели ленту, хотя до этого видели ее не раз. Для тех, кто забыл содержание, или вообще не смотрел фильма, напомним. Речь там идет о некоем условно средневековом «городе мастеров». В нем живут разные ремесленники, в том числе и главный герой – дворник-горбун со странным именем Караколь. При этом дворник в фильме почему-то не называется «дворником», а именуется более изысканно – «метельщик». Этот метельщик влюблен в местную красавицу-златошвейку, но комплексует относительно своего горба и не раскрывает ей своих чувств. Ясное дело, он очень добрый, храбрый, отзывчивый и т. д. и т. п. Внезапно на город нападают враги и захватывают его, устанавливая что-то вроде тирании. Во главе становится предводитель захватчиков, тоже горбатый, этакий Ричард Третий. Он, как и положено тирану и злодею, тут же начинает домогаться златошвейки, попутно всячески притесняя местное население. В результате против него поднимается восстание, которым предводительствует не кто иной, как другой горбун, то есть метельщик. Естественно, в кульминации фильма между ними возникает поединок, во время которого кто-то из сподвижников злодея сзади пускает стрелу в положительного героя, и та попадает ему прямо в горб. Тот падает со стены замка. Радостный злодей торжествует и вопит что было силы: «Умер! Умер проклятый метельщик!» Потом, естественно, все заканчивается хорошо: метельщик воскресает уже без горба, изгоняет захватчиков и женится на красавице-златошвейке. Но я не об этом.

В тот день, когда мы шли вдоль Масловки, все вокруг было как-то настолько серо, мокро и уныло, что меня вдруг словно черт ткнул в зад острым шилом. В общем, мне захотелось выкинуть что-то несообразное, возмутительное и одновременно веселое. Короче, разрядить обстановку.

Выскочив на середину проезжей части, я сторбился, скорчил злодейскую физиономию (как тот персонаж из фильма) и заорал противным, торжествующим голосом: «Умер! Умер проклятый метельщик!»

Мои приятели оторопели. А я продолжал злодейски орать про метельщика, поворачиваясь в разные стороны, словно находился перед воображаемыми зрителями. Какой-то прохожий шарахнулся в сторону, а один дедок, наверное, из бывших сексотов, остановился и пристально уставился на нас. Приятели пришли в себя, не сговариваясь, подхватили меня под руки и поволокли прочь.

Случай этот они потом периодически припоминали. И подолгу ржали над ним.

В старших классах школы у меня появился приятель по имени Валера. Он перешел к нам из другой школы, и мы как-то довольно быстро подружились. Возможно, это произошло на почве завиральных идей, которые в его голове тоже периодически возникали.

Как-то раз мы листали журнал «Техника молодежи» и нашли обширную статью, в которой подробнейшим образом излагалось, как сделать автожир. Автожиром называлось устройство, представляющее собой нечто среднее между табуреткой и вертолетом. Но самое удивительное состояло в том, что с его помощью можно было летать. В статье приводились схемы, как сделать раму, как к ней прикрепить мотор, сиденье, мачту пропеллера, как рассчитать длину лопастей, объяснялось, как именно следует управлять данным летательным аппаратом.

Прочитав и просмотрев все это, мы, естественно, решили построить сей агрегат. С этой целью мы освободили место в гараже папаши Валеры, где уже пятый год гнил старый «Москвич», соорудили из водопроводных труб раму, установили на нее мотоциклетный мотор, после чего принялись за пропеллер. Разложив бумаги, мы стали по формуле Жуковского (найденной нами в справочной литературе) высчитывать длину лопастей, а заодно прикидывать, где нам взять для них материал и шестерни для передачи на мачту пропеллера вращательного момента.

За этим увлекательнейшим занятием нас застал милиционер, заглянувший в гараж.

– Здравствуйте, – сказал он. – Чем занимаетесь?

Энтузиазм и жажда поделиться с окружающими грандиозными планами переполняла нас, и мы, как и почти всем до этого во дворе, рассказали, что собственно, собираемся конструировать.

Милиционер почесал затылок под фуражкой.

– А с чего вы взяли, что подобные штуки можно собирать?

Подобная мысль раньше нам не приходила в голову.

– А что, нельзя? – удивились мы.

– Конечно нельзя!

– Почему? – растерянно поинтересовался я.

– Над городом летать будете? Тут секретных объектов полно.

– Нет, мы только за городом, в поле! – заверили мы.

– И за городом не надо. Мало ли куда вы улететь захотите.

Милиционер погрозил пальцем.

– В общем, чтобы завтра же я всего этого не видел. Хотя по уму надо бы вообще всю эту вазу канитель конфисковать. Да ладно уж...

На следующий день он действительно зашел еще раз, и мы грустно продемонстрировали ему кучу железного хлама, сваленного в углу гаража.

Когда тот ушел, Валера повернулся ко мне.

– Интересно, какая гнида настучала на нас?

Я пожал плечами. Мы вышли из гаража во двор и долго еще сидели на скамейке, прожоя подозрительными взглядами мамаш, гуляющих с детьми, бабок, сплетничающих там и сям на лавочках у подъездов, а также других жителей дома, то и дело проходящих мимо нас по своим делам.

Так закончилась наша «летняя» эпопея. «Не судьба», – решили мы в конце концов и пошли записываться в секцию карате.

## Глава шестая

### На краю ойкумены, или Новый Диоген

Запрещенного в стране тогда было на удивление много. Было запрещено иметь свой, хотя бы маленький, бизнес (все частные портные работали нелегально), перепродавать вещи (только через государственные комиссионные магазины), пользоваться ксероксом и другой копировальной техникой (а вдруг ты напечатаешь антиправительственные листовки), самостоятельно издавать книги, а уж тем более газеты (все издательства были государственные и подцензурные), ездить за границу (вдруг ты там останешься), иметь свою собственную квартиру (все квартиры были арендованы у государства), свободно покупать машины (машин было мало, и право ее купить надо было еще заслужить), работать на нескольких работах и получать при этом полную зарплату (а вдруг ты начнешь жить лучше, чем остальные), не работать вообще (значит, живешь на нетрудовые доходы), ходить в рестораны (это делалось только в исключительных случаях – на свадьбу, или юбилей, оттого ресторанов было на удивление мало) и так далее все в том же духе. Это подчеркивало одну простую мысль, высказанную в свое время еще Владимиром Маяковским – «единица – вздор, единица – ноль». А государство, по логике вещей, – это все.

Поскольку практически любая вещь была под запретом (а что не было запрещено, то балансировало на грани), у населения оставалась чуть ли не единственная отдушина – чтение. Видимо, поэтому мы тогда считались самой читающей страной в мире. Однако и здесь было не все так гладко.

Книг печаталось много. Даже очень много. Но большую часть этого составляла идеологическая макулатура, которую, естественно, никто не покупал. Она годами лежала в магазинах, а потом ее просто списывали и грузовиками вывозили на свалку или в пункты приема вторсырья. При этом купить не то что хорошую современную, но даже классическую литературу было чрезвычайно трудно. Лично мне в этом отношении было несколько легче, поскольку отцу на «Правде» периодически в качестве поощрения выдавали всевозможные собрания сочинений, которые там печатали. Хотя сам он их и не читал, домой приносил исправно, так что книжный шкаф у нас был забит под завязку. Чтением увлекался я один, поэтому данный предмет мебели был полностью в моем распоряжении.

В то время как раз для удовлетворения спроса населения на книги государство специально разработало программу по сдаче макулатуры. Как одно связано с другим, было не совсем ясно, но отныне для того, чтобы купить какую-нибудь ходовую книгу, ты должен был сдать 20 кг (и более) макулатуры. По всей стране были организованы пункты приема вторсырья. Механизм состоял в следующем. Тебе выдавали абонемент на какую-либо книгу, потом ты наклеивал на него специальные марки, соответствующие тому, сколько ты сдал. На каждой так и было написано – «5 кг», «10 кг», «20 кг» и т. д. Когда наклеенных марок в сумме набиралось 20 кг, ты шел с этим абонементом в магазин и покупал (за деньги) книгу. То есть абонемент предоставлял тебе лишь право купить товар. «Макулатурные» книги издавались громадными тиражами – от 5 млн экземпляров и выше. Среди авторов были в основном «приключенческие» зарубежные писатели – А. Дюма, Д. Лондон, М. Дрюон и др. Возможно, нововведение было полезным. Но оно имело ряд последствий. Во-первых, пионеры перестали собирать макулатуру. Произошло это по той простой причине, что им теперь ее не давали – причем как родители и соседи по лестничной клетке, так и жители района. Во-вторых, с бумажных и картонажных фабрик начала в массовом порядке пропадать продукция (ее воровали с целью последующей сдачи в пункты вторсырья). Если раньше на «Правде» газеты и журналы тырили в основном для того, чтобы почитать, то теперь их выносили чуть ли не в десять раз в боль-

ших объемах для того, чтобы увязать в пачки и отнести в конце недели в макулатурную будку, каковых по городу было понастроено огромное количество. Поскольку в СССР то, что было трудно достать, автоматически становилось элементом престижа, у всех дома, будто в библиотеке, обязательно стоял шкаф с книгами. Даже у тех, кто в жизни не прочел ни одной из них и от роду имел три класса образования.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.